ДБ
370 ×
Ч-89

В „аб" и „МБА" не вышает ся

Библиотека декабристов

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

МЯТЕЖНИКИ 1825 ГОДА

«Современные проблемы»
Н. А. Столляр — Москва
1925

Государственная публичная историческая библиотека

ПАСПОРТ

Шифр	Инвентарный №
Д5 370 789	468705
	№ тома
	Список № порядковый №

КНИГА ИМЕЕТ:

295 с	Количество страниц
	Отд. томов, вып. №№
9 илл	Таблиц, карт, иллюстраций
	Особые ценности: рукопись, автограф, письмо и т. п.
	Дефекты
	Печатных листов
23.8.85	Обрез

Егоров

66 ГПИБ. Зак. 48

لیس ہذا

БИБЛИОТЕКА ДЕКАБРИСТОВ

ДБ
370
Ч. 89

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

МЯТЕЖНИКИ

1825 года

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:

Стран.	*Строчка.*	*Напечатано:*	*Следует:*
71	3	июня	июля
71	19	июня	июля
224	17	1783	1787
252	1	53 года	лет пятьдесят

КН-ВО «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
Н. А. СТОЛЛЯР МОСКВА 1925 г.

БИБЛИОТЕКА ДЕКАБРИСТОВ

ДБ
370
4.89

ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ

МЯТЕЖНИКИ

1825 года

КН-ВО «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
Н. А. СТОЛЛЯР МОСКВА 1925 г.

Госуд. публичная
историческая
библиотека РСФСР
468705

Типография МКХ им. Ф. Я.
Лаврова. Варгунихина гора, 8.
Главлит № 39740. Москва
1925 г. Тираж 5.000 экз.

Гос. Историч. Научн. Б-ка
НКП РСФСР
Инвен. № 468705
193 г.

Госуд. публичная
историческая
библиотека РСФСР

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В 1858 г. в Лондоне за подписью «Iskander» появилась на французском языке брошюра—«La conspiration russe de 1825». Автор писал, между прочим: «Нравственное действие, произведенное днем 14-го декабря было удивительно. Пушки Исаакиевской площади разбудили целое поколение. До тех пор не верили в возможность политического восстания, идущего с оружием в руках среди самого Петербурга на гиганта—императорский царизм. Было известно, что время от времени убивали во дворцах, то Петра, то Павла, чтобы заменить их другими. Но между этими таинственными операциями, напоминающими бойню, и торжественным протестов против деспотизма, —протестом, сделанным на площади и запечатленным кровью и страданиями этих героических людей, не было ничего общего. Впрочем, они мало надеялись на успех, но они понимали великое значение их дела. 13-го очень молодой человек... поэт, князь Одоевский говорил с восторгом, обнимая своих друзей: «Мы идем на смерть..., но на какую славную смерть».

Так думал Герцен. Так он оценивал движение декабристов. Восстание на Сенатской площади в Петербурге (ныне Ленинграде) и—главное—мятеж Черниговского полка на Юге—первый опыт революции, после которого восемьдесят лет Россия оставалась неподвижной, тая в подполье ненависть к старому порядку. Взгляды Герцена на декабристов были приняты без переоценки нашею либеральною интелли-

гинцией. Однако, в марксистское миропонимание не укладывается такое одностороннее психологическое истолкование деятельности и подвига декабристов. Марксист обязан бесстрастно взвесить все факты, оценить всю историческую обстановку и найти об'ективную правду, скрытую за видимою психологическою картиною. Понадобилось восемьдесят лет, чтобы вновь, в 1905 году, революционеры с оружием в руках вышли на улицу. Но эти восемьдесят лет были не бесплодны в истории нашей общественной мысли. Теперь мы не так легко соблазняемся романтическими декорациями, придуманными затейливым постановщиком исторической драмы, и стараемся критически оценить разыгранную перед нами пьесу. Это не значит, что мы утратили художественное чутье, но мы знаем, что текст не совсем то, что режиссерская выдумка.

За сложною психологией исторического героя проницательный взгляд откроет реальные и простые мотивы, понудившие его сделать тот или иной жест, произнести фразу с определенной интонацией. Одним словом, не сознание героя определяет его бытие, а само бытие определяет его сознание. Этим вовсе не уничтожается наш интерес к суб'ективной стороне факта, к его психологической сложности и глубине. Мы только обязаны помнить, что материальные условия данной эпохи, прозаическая экономика и жестокая правда классовой борьбы—суть истины, пусть относительные, но тем не менее властно влияющие на ход событий. Знание этого материального базиса обязательно для нас, но было бы смешным невежеством довольствоваться этим знанием, не интересуясь вовсе многообразием возникающей в веках культуры, со всеми ее представителями. В земле, удобренной навозом, выростают причудливые и благоуханные цветы. Без навоза не было бы цветов, но, сознавая зависимость растения от удобрения,

мы не откажемся, однако, наслаждаться запахом и окраской роз и орхидей. Вот почему совершенно прав М. Н. Покровский, учитывая не только социально-экономическую сторону движения декабристов, но и внутреннюю психологическую ткань события. «Первое в России выступление борцов за свободу против самодержавия, первая легенда, которая затем идет через весь XIX век,— говорит он, —вдохновляет следующих борцов. Суб'ективного психологического значения этой легенды я нисколько не думаю оспаривать: оно было колоссально, и действительно она вдохновляла последующих борцов».

«Тайные Общества», возникшие в первую четверть XIX века, были сложным культурным фактом. Этому факту соответствовали совершенно определенные экономические и социальные условия эпохи. Эти условия, однако, не были однородны. Интересы, иногда прямо противоположные, разделяли участников Тайных Обществ. Поэтому не приходится теперь говорить о движении декабристов, как о чем-то едином и цельном. Надо различать в этом движении, по крайней мере, три направления. Этим направлениям соответствовали и психологические типы декабристов.

Вопреки традиции придется сосредоточить свое внимание не столько на петербургском восстании 14 декабря, сколько на героической попытке Черниговского полка и на вдохновителях этого южного мятежа—деятелях Общества Соединенных Славян, организации наиболее революционной и демократической. Само собою разумеется, что мы должны представить себе историческую перспективу и не требовать от людей, живших сто лет назад, нашего понимания социальных отношений и политических форм. Мы теперь точнее, чем они, оцениваем материальные силы, которые тогда действовали в России и на

международном рынке; мы видим то, чего не видели непосредственые участники тогдашней революции; они иногда и не помышляли вовсе об экономических интересах, которым они бессознательно служили.

Промышленный или торговый капитал требует иногда фатально того или другого направления в общественной и политической жизни, и человек, с очень сложною психологией, одаренный, быть может, исключительными способностями и высокими нравственными качествами, служит как-бы рупором для силы, действующей в известный час истории, не подозревая вовсе этой своей служебной роли. Этим, однако, вовсе не умаляется героический подвиг. На кронверке Петропавловской крепости повешено пять человек. Бестрастный историк-социолог расскажет нам с возможною научною точностью, в каких условиях действовали эти люди, какому классу выгодны были их политические и социальные программы, какое место занимает их революционная пропаганда в истории. Этот труд историка нам нужен. Опыт прошлых дней полезен и для нас. Но нам этого мало. Мы, естественно, желаем увидеть этих людей. Они теперь нам не друзья и не враги. Они—былое. Какие это были люди? Какими глазами они смотрели на мир? Каковы были их души? Никакая научная трезвость не уничтожит в нас интереса к тому, что эти люди как ни как п о ж е р т в о в а л и с о б о ю. Царь Николай 1-й, как орудие известных исторических сил, стал их палачем. А спустя тридцать лет, этот царь сам отравился, ибо иные исторические силы понудили его признать себя лишним на арене истории. Такова историческая метаморфоза. В этом круговороте событий для нас нет безразличных фактов. Всему есть свое место. По представлению марксиста мы оцениваем факты и людей с точки зрения того или иного класса, но наша биографическая при-

надлежность к той или иной социальной группе вовсе не предрешает наших симпатий политических и классовых. Энгельс, как известно, был богатый фабрикант, но его идеологию разделяют миллионы рабочих. Вот почему нас не должна смущать принадлежность многих декабристов к богатой знати.

Пестель был сын сибирского генерал-губернатора, но это не помешало ему написать «Русскую Правду» где, между прочим, излагается аграрная программа, основная мысль которой—по замечанию историка-коммуниста—должна быть охарактеризована, как частичная национализация земли.

Итак, надо различать в освободительном движении конца Александровской эпохи три главных течения. Правым, умеренным, в коем с наибольшей очевидностью выразились классовые традиции привилегированного дворянства и крупных землевладельцев, надо признать Северное Общество. Никита Муравьев и кн. Сергей Трубецкой были типичными представителями этого течения. Правда, были и здесь иные оттенки. Так, например, Рылеев, игравший значительную роль в последний год существования Северного Общества, был гораздо демократичнее своих старших товарищей. И если приходится считаться с тем фактом, что в конституционном проекте Никиты Муравьева был введен при выборной системе чрезвычайно высокий и совершенно нелепый, даже с практической точки зрения, ценз, то нельзя забывать и того обстоятельства, что муравьевский проект вовсе не был обязателен для всего Общества, и трудно предвидеть, на каких началах пожелали бы заговорщики строить государственный порядок, если бы переворот совершился. Впрочем, для марксиста такой вопрос имеет только риторический смысл: переворот не совершился, значит, таковы были об'ективные исторические условия.

Южное Общество, где вождем был Пестель, представляло собою гораздо более широкие социальные круги, по крайней мере, в проекте «Русской Правды». И, наконец, третье течение нашло себе выражение в так называемом, Обществе Соединенных Славян. Здесь была фактическая связь заговорщиков—офицеров с солдатами; здесь сказалось, между прочим, настроение демократических элементов офицерства. И само восстание на Юге носило характер подлинной революционной попытки, при чем солдаты сознательно шли против тогдашней власти с оружием в руках. Во всяком случае, дата 28-го декабря не менее значительна, чем дата 14-го декабря.

Если мы обратимся теперь к существу дела, то станет очевидным, что все эти республиканские и конституционные программы, обсуждавшиеся в Тайном Обществе, имели одно материальное основание —это несоответствие нашей тогдашней экономики с положением крестьянства. Все сводилось к тому, что крепостное право оказывалось вредным тормозом в развитии нашей государственной торговли. Мы торговали хлебом, главным образом, с Англией. В начале XIX века наш торговый капитал приобретал значение до того времени ему несвойственное. Для всех образованных людей стало ясно, что крепостное хозяйство непригодно для новых форм государственной экономики. Декабрист Якушкин, например, откровенно пишет в своих записках о дурной интенсивности крепостного труда. Рабы плохо работали. Якушкин хотел освободить своих крестьян, но без земли. На это крестьяне не пошли, отказались от свободы. Факт чрезвычайно поучительный для оценки крестьянской психологии. Другой декабрист Н. И. Тургенев, один из самых солидных, деловых, образованных и, пожалуй, прозаических декабристов, прекрасно понимал, что смысл событий в том, что крепостное хозяйство отжило свое время. Вот

это подводное течение и подняло в конце-концов на поверхности политической жизни волну, доплеснувшуюся в декабрьские дни до открытого восстания против тогдашней верховной власти, медлившей освободить крестьян. Почти полвека понадобилось для ликвидации рабского и полурабского хозяйства и целое столетие для уничтожения остатков дворянского землевладения. Уже это одно понуждает нас использовать юбилей декабристов, чтобы отчетливо представить себе, как сто лет тому назад крестьянский вопрос был поставлен на очередь силою событий. Он, правда, не был еще тогда разрешен. Но мы не должны забывать, что тогда еще почти не было городских рабочих. Тем знаменательнее, что немногочисленный тогдашний петербургский пролетариат оказался на площади 14 декабря. На официальном языке это называлось «чернь». Вот эта «чернь» приняла активное участие в мятеже, явно сочувствуя бунтарям. В недавно найденном любопытном дневнике одного петербургского обывателя рассказывается, как толпа встретила криками «ура» императора Николая, показавшегося на площади, но этот текст, спустя несколько лет был перечеркнут автором, и он простодушно признается, что написал ложь «от страха»: на самом деле толпа кричала непристойные ругательства по адресу претендента на царский престол. Известен отрывок из записок самого императора Николая. Император с совершенной откровенностью пишет: «Шум и крик сделался настойчивее; и частые ружейные выстрелы многих в кон. гвардию перелетали через войска; большая часть солдат на стороне мятежников стреляла вверх. Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толпу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп, пули просвистели мне через голову и, к счастью, никого из нас не ранили; рабочие Исаакиевского собо-

ра из-за забора начали кидать в нас поленами; надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни; и тогда окруженные ею войска стали бы в самом трудном положении»...

Роль этих рабочих, бросавших поленья в голову императора, еще мало выяснена в истории декабрьского восстания и, возможно, что она значительнее, чем до сих пор думали. Во всяком случае, даже то, что нам известно, весьма поучительно и знаменательно.

Литература о декабристах обширна, но представлена эта литература довольно односторонне. На первом месте стоит литература мемуарная и эпистолярная. На втором месте стоят работы монографические на частные темы, как, например, работа Павлова-Сильванского о Пестеле. Что касается работ с известными историческими обобщениями, то они посвящены, главным образом, анализу политических взглядов декабристов. Таковы, например, дореволюционные работы Довнар-Запольского, В. И. Семевского и нек. друг. В книгах М. Н Покровского мы находим интересный опыт марксистского истолкования декабрьского движения. Имеются также работы историко-психологические, как, напр., очерк П. Е. Щеголева о Каховском или М. О. Гершензона об Орлове. К типу этих последних очерков относится отчасти и настоящая книга, предлагаемая вниманию читателей. До сих пор не было такой работы, где были бы представлены психологические портреты наиболее выдающихся или чем-нибудь характерных декабристов. Известная книга Головачева, изданная М. М. Зензиновым, преследует иные цели: в ней каждому декабристу отведено две-три страницы. Это скорее альбом портретов—не более.

Характеристики Пестеля, Рылеева, С. И. Муравьева-Апостола, Батенкова, Лунина и др., собранные в одну книгу, ныне издаваемую, сами по себе

являются темою для анализа и обсуждения их с социологической точки зрения. Автор не дает никаких идеологических об'яснений тем типам, которые представлены в его книге. Он озабочен не столько тем, чтобы выяснить их социальное значение, сколько тем, чтобы показать этих людей в их конкретной, иногда противоречивой сложности. Дело историка-социолога взвесить каждую историческую личность и определить, какому классу этот человек служил и чьи социальные интересы он представлял. В данном случае автор озабочен иным. Он как бы говорит нам: вот какие люди жили в первую четверть XIX века в императорской России, вот как они размышляли, любили и ненавидели, устраивали заговоры, верили в бога и яростно его отрицали, вот как, наконец, они умирали на кронверке Петропавловской крепости или в Сибири, или у себя в уютном поместье, дожив до глубокой старости.

Марксизм не боится фактов. Предлагаемая вниманию читателей книга—книга по преимуществу фактическая. Автор ставил себе задачею—ничего не утаить от читателей. Он не подбирал факты тенденциозно. Он не делал из декабристов героев во что бы то ни стало, но он не старался также умалить их значительность только потому, что многие из них были дети крупных землевладельцев. В области их внутренней жизни декабристы представлены в этой книге со всеми их слабостями и особенностями, характерными для эпохи. Автор не скрыл от читателя ни атеизма братьев Борисовых, ни религиозности С. И. Муравьева-Апостола, ни того, что многие из декабристов были убежденными масонами до конца своих дней. Столетний юбилей достаточная давность, чтобы без страсти и без гнева прочесть эту книгу о людях, которые первые сделали попытку выйти с оружием в руках против царского правительства.

ОТ АВТОРА.

Психологический портрет, как одна из форм исторического повествования, едва ли нуждается в особом оправдании. Прекрасных образцов этого литературного жанра немало. Назовем, например, опыты Карлейля, Тэна или Сент-Бева, а у нас—Ключевского. Я, конечно, не смею сравнивать себя с этими большими мастерами, но позволительно иметь в виду высокие образцы, даже сознавая свои скромные силы и ограничив свое задание самыми узкими рамками. В этих популярных очерках я старался как можно проще рассказать о некоторых участниках Тайных Обществ, возникших в России начала XIX века. В силу некоторых соображений мне пришлось отказаться от идеологического освещения деятельности и судьбы этих первых ревнителей революции. Моя задача была психологическая—и не более того. Само собою разумеется, что я писал мои портреты по реальной фактической основе, стараясь быть точным в этом плане. К сожалению, я не успел воспользоваться юбилейной литературой о декабристах. Однако, некоторые не напечатанные материалы были мне известны, и, кажется, новые публикации не изменят радикально моих оценок и не умалят значения моих характеристик.

В Тайных Обществах и в неудачной революции 1825 года участвовало несколько тысяч человек, не считая миллионной, быть может, массы сочувствующих. Николай I думал, что прикосновенных к движению было 6000—7000. Более 120 имен вписано в

официальные «акты» нашей революции. Спрашивается, почему же в этой книге я остановил свое внимание на немногих и при том включил в этот краткий список некоторых, не успевших принять деятельного участия в мятеже. Должен признаться, что в этом выборе я не всегда был об'ективен. Если бесспорны такие имена, как Пестель, Рылеев, или Сергей Муравьев-Апостол, то, с другой стороны, всегда может вызвать упрек в пристрастии включение в мой список Батенькова или Лунина, тогда как у меня нет портрета кн. Трубецкого, Н. И. Тургенева и многих других... Оправданием мне, да послужит то соображение, что очерки такого типа, как ныне предложенные вниманию читателей, только в том случае могут представлять некоторый интерес, если автор относится к своим героям не совсем безразлично. Что же делать, если рассудительный Н. И. Тургенев не занимает моего воображения, и я к нему равнодушен, тогда как Лунин, например, внушает мне желание разгадать его характер и его тайные думы. Впрочем, далеко не все декабристы, казавшиеся мне значительными, представлены в этой книге. Иных я не мог включить просто потому, что для этого надо было бы увеличить об'ем книги, что не входило в издательский план.

Г. Ч.

Июнь, 1925 г.

Павел Иванович Пестель.

Пестель.

«Он был одним из самых оригинальных умов, которых я знаю...» Вот мнение Пушкина о Пестеле. Поэт встретил его в Кишиневе весною 1821 года. По-видимому, эта встреча была небезразлична... В своем дневнике от 9 апреля того же года Пушкин записал: «Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч...».

Примечательно, что авторы воспоминаний о Пестеле как-будто сговорились: все твердят одно и то же—все об одном, о разговорах Пестеля. Вот и Пушкин отметил значительность и разнообразие его беседы. Должно быть, Пестель поразил воображение современников своим умением говорить умно и убедительно на какие угодно темы—метафизические, политические, нравственные и проч. Бывает в человеке какая-нибудь черта, которой не забудешь никак. Вот, например, товарищи и друзья Рылеева с убедительной настойчивостью твердят о его глазах. Вероятно, было в них что-нибудь необыкновенное. Напротив, в воспоминаниях о Пестеле почти ничего нет о его наружности,— за то все спешат признаться, что он обладал необыкновенным даром диалектика, что доводы его были неотразимы, что с ним боялись спорить, даже не соглашаясь с ним. Один говорит, об его «убедительном даре слова», другой передает, что Пестель «излагал свои мысли с такою логикой, такою последовательностью и с таким убеждением, что

...ерич. Научн. Б-ка
НКП РСФСР
Инвент. № 468705
193 г.

трудно было устоять против его влияния», третий утверждает, что он был «красноречив в высшей степени»... «Помню, — рассказывает В. Л. Давыдов, — об одном собрании у князя Волконского. Пестель говорил о разных предметах своих проектов... Против всех статей я покушался говорить, но имел слабость против своих мнений уступить мнению Пестеля, как и в важнейших, к несчастью, разговорах»... И. Д. Якушкин пишет в своих воспоминаниях: «Пестель всегда говорил умно и упорно защищал свое мнение, в истину которого он всегда верил, как обыкновенно верят в математическую истину...».

А начальник штаба второй армии, впоследствии бывший министром, П. Д. Киселев, так был очарован разговорами Пестеля, что, приблизив его, ни за что не хотел с ним расстаться, несмотря на предупреждения петербургских влиятельных и осведомленных друзей, которые твердили ему в письмах, что Пестель человек весьма опасный.

Можно сказать, что Пестеля повесили за его мысли и проповедь. Он, ведь, не подготовлял непосредственно восстания, как Рылеев,—не был взят с оружием в руках, как Сергей Муравьев,— не стрелял в великого князя, как Кюхельбекер,— не предлагал себя в цареубийцы, как Якубович, Каховский или Якушкин... Слово, повидимому, показалось судьям более опасным оружием, чем пистолет или кинжал. Даже заключенный в крепость Пестель продолжал говорить. «Никто из подсудимых,—пишет протоиерей Казанского собора, Мысловский,— не был спрашиван в комиссии более его, никто не выдержал столько очных ставок, как опять он же; всегда и везде был равен себе самому. Ничто не колебало твердость его. Казалось, он один готов был на раменах вынести тяжесть двух альпийских гор. В комиссии всегда отвечал с видимою гордостью и с каким-то самомнением...»

Любопытную характеристику диалектических приемов Пестеля дает А. В. Поджио. Этот заметный член Южного Общества показал на допросе: «Пестель по обыкновению своему испытывать, оспаривать человека даже в том, в чем он был сам убежден, дабы через то усмотреть способность всякого и твердость в мнении, счел за нужное начать со мною с азбуки в политике... в действии... Начал от Немврода, подробно, медленно переходил через все изменения правлений, понятий народов о них; коснулся к временам свободы Греции, Рима, говоря, сколь мало она понятна была, не имея представительства своего; пронесся быстро мимо варварских средних времен, поглотивших свободу и просвещение; приостановился на революции французской, не упуская из виду нерешимость одной цели, непрочности в достижении ее и основании, и, наконец, пал на Россию. Тут он направил на нее все свои ядовитые стрелы, стал говорить о монархическом правлении, сколь оно несогласно с представительным, как сила одного разрушает силу другого, сколь они в существе своем разнородны и несовместимы, сколь при таком роде правления невозможно установление прочной системы равновесия властей, противоборство одних с другими, сколь наследствие престола по первородству противно цели всякого благоустроенного государства...»

Черта в характере Пестеля, отмеченная А. В. Поджио—«испытывать, оспаривать человека даже в том, в чем он был сам убежден»—произвела неприятное впечатление на прямого и страстного Рылеева, который рассказал на допросе о своем свидании с Пестелем со свойственной ему наивностью: «При свидании с Пестелем я имел с ним долгий разговор, продолжавшийся около двух часов. Всех предметов, о коих шла речь, я не могу припомнить. Помню только, что Пестель, вероятно, желая выведать меня, в

два упомянутые часа был и гражданином Северо-Американской республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской. Например, он соглашался со мною, что образ правления Соединенных Штатов есть приличный и удобный для России. Когда же я заметил, что Россия к сему образу правления еще неготова, т.-е. к чисто республиканскому, Пестель стал выхваливать государственный устав Англии, приписывая сиому настоящее богатство, славу и могущество всего государства. Спустя несколько времени он согласился со мною, что устав Англии уже устарел, что теперешнее просвещение народов требует большей свободы и совершенства в управлении, что английская конституция имеет множество пороков и обольщает только слепую чернь, лордов и купцов. «Да близоруких англоманов»,— подхватил Пестель. «Вы совершенно правы». Потом много говорил он в похвалу испанского устава и, наконец, зашла речь о Наполеоне. Пестель воскликнул: «вот истинно великий человек. По моему мнению, если уже иметь над собою деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию. Сколько создал новых фортун. Он отличал не знатность, а дарование» и проч.». При этом Рылеев делает поспешное умозаключение, не свидетельствующее о его проницательности: «Поняв куда все это клонится, я сказал: «Сохрани нас бог от Наполеона. Да, впрочем, этого и опасаться нечего. В наше время, даже и честолюбец, если только он благоразумен, пожелает лучше быть Вашингтоном, нежели Наполеоном».—«Разумеется,— отвечал Пестель,— я только хотел сказать, что не должно опасаться честолюбивых замыслов, что если бы кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном, а в таком случае мы все-таки не останемся в проигрыше». После сего он спросил меня: «Скажите, какое вы предпочитаете

правление для России в теперешнее время?»—Я отвечал, что мне удобнейшим для России, кажется, областное правление Сев.-Американск. республики при императоре, которого власть не должна много превосходить власти президента Штатов. Пестель задумался и сказал: «Это счастливая мысль, об этом надо хорошенько подумать».

Кто же был Пестель? Как он сам понимал себя? Был ли он в самом деле честолюбец, мечтающий о власти? Или он был романтик, как многие из декабристов, увлеченный идеей общего блага, свободолюбец и герой? После Пестеля остался его проект конституции—«Русская Правда» и его ответы Верховному Уголовному Суду—и это почти все. Мы ничего не знаем об его внутренней душевной жизни, об его частных отношениях к людям, об его сердечных привязанностях и увлечениях. У Робеспьера была страстная поклонница, мадемуазель Дюплэ; он сочинял сентиментальные стишки; сумасшедшая Екатерина Тео считала его своим сыном, а себя называла Богородицей: о Пестеле мы не знаем ничего интимного. Павел Иванович Пестель родился в Москве 24 июня 1793 года за год до падения Робеспьера. Француз якобинец как будто передал свой дух будущему русскому заговорщику. В Пестеле было что то робеспьеровское, якобинское. Если бы он жил в иных исторических условиях, он мог бы организовать революционное правительство. Идея и теория были для него также священны, как и для Робеспьера. Они оба покорно приняли, как безусловную истину, отвлеченное представление о каком-то идеальном народе. Оба верили в некое высшее Существо, полагая, что их революционная деятельность согласуется с путями и волею Провидения.

Пестелю не довелось сыграть такой заметной роли в истории, как Робеспьеру, но этот неудачник был

умнее адвоката из Арраса, которому удалось стать во главе конвента и править Францией при помощи гильотины. Пестель был умнее и сложнее Робеспьера. Но их биографии, так сказать, публичны. Их жизни—ряд политических действий, конспиративных или явных. У Робеспьера это осложняется его юридическими и публицистическими статьями, у Пестеля—его послужным списком безупречного офицера.

Пестель был сын сибирского генерал-губернатора, Ивана Борисовича Пестеля и Елизаветы Ивановны, урожденной фон-Крок. До двенадцати лет мальчик воспитывался дома, потом—в Дрездене в течение четырех лет. Весною 1810 года он поступил в старший класс пажеского корпуса , а через полтора года был произведен в прапорщики л.-гв. Литовского полка (впоследствии Московского). Любопытно, что директор пажеского корпуса был в то время немецкий поэт Клингер, друг Гете, тот самый Клингер, который был ранее директором Первого Корпуса, где учился Рылеев, не раз подвергавшийся телесным наказаниям согласно педагогическим методам этого германского писателя.

Пестель в Пажеском корпусе обнаружил блестящие способности и, получая наилучшие баллы, числился по спискам первым. По фронтовому учению экзамен камер-пажам производил сам царь. И здесь Пестель был безупречен «в экзерцигаузном искусстве», щеголяя сложными «деплоядами с контрмаршами и построениями анэшикье». Производство в гвардию было обеспечено Пестелю, но явилось неожиданное препятствие в лице директора, который был заинтересован в том, чтобы первым по выпуску оказался Адлерберг, товарищ и соперник Пестеля. Клингер хотел задержать выпуск из корпуса Пестеля, мотивируя свое намерение тем, что Пестель пробыл на положении камер-пажа всего лишь девять месяцев. Однако, царь настоял на том, чтобы талантливо-

му Пестелю предоставлено было первое место по выпуску и тогда же, т.-е. 14 декабря 1811 года. На этот раз победа осталась за будущим декабристом, а будущий царедворец и царский фаворит был отодвинут на второе место. Спустя четырнадцать лет их роли, как известно, переменились. Кстати сказать, мраморная доска, на которой было записано имя Пестеля, вскоре после восстания на Сенатской площади была разбита по приказанию корпусного начальства.

Итак, мы видим Пестеля гвардейским офицером. В 1812 году он в действующей армии. Отличившийся и раненый при Бородине, он получает золотую шпагу с надписью «за храбрость». Еще худо залечив рану, Пестель весною 1813 года отправляется за границу в штаб нашей армии и получает назначение быть ад'ютантом при главнокомандующем, графе Витгенштейне. Во время походов 1813 и 1814 г.г. Пестель участвует в боях и получает награды. После войны ему пришлось с 1814 до 1818 года жить в Митаве, а с 1818 года на юге, в Тульчине, где находился штаб второй армии, которою командовал Витгенштейн.

За время службы Пестеля на юге надо указать на случай, давший повод императору Александру отметить выдающиеся дарования того человека, который тогда уже подготовлял государственный переворот и позднее замышлял убийство его, императора, и всех членов царствующего дома. Этот случай—командировка Пестеля в Скуляны, на границу Молдавии во время греческого восстания 1821 г.

Пестель никогда ничего не делал «спустя рукава», кое-как. Решительный и точный, требовательный к себе и другим, он и на военной службе был всегда первым, каким был и в пажеском корпусе или в Тайном Обществе среди заговорщиков. По странной иронии судьбы Пестелю, революционеру и якобинцу, пришлось писать о греческом восстании

докладную записку, представленную государю, и что всего любопытнее царь хвастался этою запискою на конгрессе в Лайбахе. «Вот как пишут у меня армейские полковники»... За то этою запискою был недоволен Пушкин, кстати сказать, не любивший Пестеля, несмотря на признание в нем оригинального ума. В дневнике от 24 ноября 1833 года Пушкин рассказывает о своей встрече с бывшим молдавским господарем Суццо. «Он напомнил мне,—пишет Пушкин,—что в 1821 г. был я у него в Кишиневе вместе с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул его, и предал этерию—представя ее императору Александру отраслью карбонаризма. Суццо не мог скрыть ни своего удивления, ни досады—тонкость фанариота была побеждена хитростью русского офицера...»

Кажется Пушкин ошибался: ни обмана, ни предательства со стороны Пестеля не было,—но в своей записке Пестель в самом деле сообщал то, в чем был убежден: греческое освободительное движение отчасти было результатом деятельности Тайного Общества, возникшего в Вене задолго до восстания стараниями Риго, впоследствии казненного турецким правительством. Пушкин не любил Пестеля. Если верить Липранди, однажды за обедом у М. Ф. Орлова, Пушкин, как бы не зная, что Пестель сын иркутского генерал-губернатора, спросил его, не родня ли он сибирскому злодею.

Встреча умного, самоуверенного, надменного, серьезного и строгого Пестеля со страстным, насмешливым и совсем по иному, не по-пестелевски, умным Пушкиным, представляет немалый интерес. В какой обстановке и при каких обстоятельствах они встретились? Весною 1821 года, когда Пестель останавливался в Кишиневе, у этого южного городка был не совсем обычный вид. Вместо прежних двенадцати ты-

сяч жителей тут было уже до пятидесяти тысяч. Зимою в кишиневском обществе блистали три гвардейца: братья Ипсиланти. Теперь они были по ту сторону Прута во главе этеристов и дрались за свободу Греции, а здесь, в Кишиневе, толпились выходцы из Молдавии и Валахии. Бухарестские богачи и знатные греки сделали кишиневскую жизнь пестрою и яркой. Появились красавицы Галу Суццо, Мария Маврокордато и знаменитая Пульхерия Варфоломей. Известно, как Пушкин забавлялся тогдашними нравами и развлекался любовными приключениями. Но само собою разумеется, у него была и другая тайная жизнь. В январе 1826 года Пушкин писал Жуковскому: «В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в кишиневской ложе, т.-е. в той, за которую уничтожены в России все ложи. Я, наконец, был в связи с большею частью нынешних заговорщиков...»

Впоследствии Пушкин, повидимому, разочаровался в масонстве, и большие тетради в черном сафьяне, с масонскими четыреугольниками на переплете, врученные ему когда то братом-каменьщиком, по уверению А. Н. Вульф, служили поэту для черновиков, не имеющих отношения к таинственному «Востоку». Пушкин об'яснял, однако, Вульфу, что эти тетради не заключали и ранее чего-нибудь эзотерического. Но в кишиневский период Пушкин был масоном. И немудрено—все друзья его были масонами. Во главе Овидиевой кишиневской ложи, открытой, впрочем, лишь в июле 1821 года, стоял приятель Пушкина—ген.-майор П. С. Пущин. Великая ложа Астреи осенью того же года сообщила кишиневским друзьям о признании новой ложи. Она была присоединена под двадцать пятым нумером. Членом этой ложи был, между прочим, и В. Ф. Раевский. Если к этому добавить, что генерал Инзов, которому было поручено следить за Пушкиным, был также масон, член Гамбург-

ской ложи Золотой Шар, то легко себе представить закулисную обстановку тогдашней жизни Пушкина. И вот приезжает Пестель. Его биограф сообщает, что Пестель был масоном с 1812 по 1817 год. То, что он был в этот период масоном, несомненно, но что он после семнадцатого года перестал им быть—вовсе не доказано. Показанию Пестеля о выходе его из масонского союза противоречат факты: в бумагах Пестеля, был найден немалый масонский архив. Найден был также французский диплом, выданный Пестелю из ложи Amis Réunis и другой диплом его на латинском языке, выданный ложею Сфинкса 12-го февраля 1817 года. Были найдены также и масонские знаки, которые Пестель при допросе назвал «игрушками прежних лет». Но, кажется, Пестель этими игрушками играл до конца своих дней, а то, что он отрекался от масонства на допросе, вполне естественно: сознавая, что Тайное Общество в глазах правительства преступно, он спешил отрицать связь его с масонством, чтобы не компрометировать дело «братьев-каменьщиков». Итак, весьма вероятно, что Пушкин и Пестель пожали друг другу руку, соблюдая условные обрядсвые приемы масонов. Все это, конечно, не более как наши домыслы, но эти домыслы правдоподобней традиционных интеллигентских представлений о том, будто бы Пестель и другие декабристы масоны, вступив в Союз Благоденствия, тотчас порвали связь со своими старшими «по духовному чину» руководителями.

По представлению Пушкина, масонство и освободительное движение были связаны, как нечто единое. Об этом свидетельствует и его шутливое послание к П. С. Пущину.

И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,—
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: «Свобода»!

Хвалю тебя, о, верный брат,
О каменщик почтенный!
О, Кишинев, о, темный град!
Ликуй им просвещенный...

В краткой пушкинской заметке 9 мая 1821 года любопытна фраза Пестеля, очевидно, не случайно записанная поэтом: «Mon coeur est materialiste,—говорит он,—mais ma raison s'y refuse». Что это значит? Мы слышим обыкновенно обратное утверждение. И Пушкина, очевидно, поразило это признание Пестеля. Должно быть, в самом деле в характере Пестеля было какое-то противоречие; должно быть его сердце и его разум были в распре неизжитой, непреодолепной. И чем красноречивее и убедительнее говорил Пестель, уча других, тем страшнее и мучительнее была его внутренняя жизнь. Все подчинялись авторитету Пестеля, некоторые преклонялись пред ним, восхищаясь, но многие, даже покорствуя, ненавидели его. Характеры, заключающие в себе некоторый ущерб, часто бывают как будто блистательны, но присутствие тайной душевной язвы ощутимо. И Пушкину был неприятен этот внутренний разлад в человеке, который так властно учил, как будто обладал истиной. Не только Пушкину был неприятен Пестель. Многие товарищи по заговору ненавидели его. Это обнаружилось на допросе Верховного Уголовного Суда. Все, почти все, с какой-то странною неприязнью спешили обвинить Пестеля. Показания были ужасны. Ему приписывали не только первую роль в заговоре, но стремились обвинить его в превышении врученной ему власти. Рылеев, как мы видели, обвинял его в бонапартистском плане и прозрачно намекал на честолюбивые замыслы. И. Г. Бурцов жаловался судьям на Пестеля: «Вражда Пестеля сделалась ко мне неукротимой и он начал обвещать меня агентом тайной полиции». Н. В. Басаргин с удивительной настойчивостью предавал

Пестеля: «Мы виноваты только в том,—говорил он,— что слушали его и не имели довольно твердости явно об'явить наше нежелание оставаться в обществе». На вопрос суда, кто из членов Южного Общества наиболее стремился к распространению и утверждению преступных мнений, Басаргин твердо ответил: «Один только полковник Пестель». Называя его человеком, «одаренным от природы способностями выше обыкновенных», тот же свидетель закончил свое показание такою тирадою: «Кончая мое показание, я осмеливаюсь вновь повторить комитету, высочайше утвержденному, что во всех случаях, если что-либо предлагалось или говорилось новое даже без моего ведома, то можно положительно сказать, что никем другим из членов, как полковником Пестелем, ибо, по понятию моему, он один был основанием, на коем все здание было устроено». М. П. Бестужев-Рюмин показывал, что именно Пестель настаивал на истреблении всей царской фамилии: «На контрактах 1823 г. на квартире Василия Давыдова». «Пестель торжественно открыл заседание, спрашивая нас: согласны ли мы на введение республиканского правления в России». Мы сказали: «Да». Пестель спросил потом у нас, согласны ли мы со мнением общества о необходимости истребления всей императорской фамилии. Мы сказали, что «нет». Тут возникли жаркие и продолжительные прения. Муравьев в своем мнении устоял, а я имел несчастье убедиться доводами Пестеля»... «В Каменке Пестель возобновил прения о необходимости истребления императорской фамилии»... М. И. Муравьев-Апостол также показывал, что именно Пестель настаивал на истреблении всей царской фамилии. Почти все привлеченные по делу Тайного Общества не стеснялись оговаривать Пестеля. Поразительна ненависть, которая вспыхнула в сердцах и умах, еще недавно покорных Пестелю. Эта ненависть напоминает злобу

депутатов конвента после 22 прериала 1794 года, когда бледный и дрожащий Робеспьер, обреченный на казнь, сошел с кафедры под яростный свист толпы. Вчера еще повиновались в страхе этому «неподкупному», а сегодня он кажется смешным и жалким в своем бессилии, и какой-то депутат кричит: «Ты мне надоел, Робеспьер, с своим Высшим Существом»...

Пестель, также, как Робеспьер, верил в Высшее Существо. В письме к родителям из крепости накануне казни он пишет: «Я всегда вполне верил в бога, создателя нашего»... Вероятно, это признание вполне искренно. Среди декабристов были люди самых противоположных религиозных верований от материалистов и атеистов, вроде П. И. Борисова, до верующих христиан вроде князя Е. П. Оболенского. Пестель, по крайней мере, до заключения в каземат, не принадлежал ни к тем, ни к другим. Повидимому, он был деист. В его библиотеке мы находим и материалистов, и скептиков, и верующих в некое отвлеченное верховное существо. В его неизданной записной книжке имеются цитаты из Гольбаха, Гельвеция, Руссо, Вольтера, Дидро, Кандильяка, Беккарии, Бентама, г-жи Сталь. Философические и политические темы чередуются в этих записках случайно, но в Пестеле всегда преобладала политическая идея. Удивительна его уверенность, что все вопросы можно решить, взвесить их точно на весах разума. Пестель был во власти французских просветительных идей. По исповеданию и воспитанию протестант, он меньше, чем кто-либо из декабристов мог противопоставить рационализму иной духовный опыт. Он верил в бога, потому, что его к тому обязывал разум. Он, ведь, так и сказал Пушкину, что сердце его материалистично, но разум отказывается признать материализм истиной. Ничего иного и не мог сказать человек, весь проникнутый

идеями энциклопедистов. Материализм не давал ему опоры для построения такой политической системы, которая могла бы сама по себе облагодетельствовать общество. Пестелю нужен был источник универсального блага. На первом же допросе он заявил, что благоденствие и злополучие царств и народов зависит по большей части от правительств. Вот почему он требовал диктатуры «Временного Правительства». Ему не приходило в голову, что правительственные программы диктуются социальными условиями и сложною историческою обстановкою, а не наоборот. Ему казалось, что стоит найти секрет наилучшей конституции—и всеобщее благо обеспечено. Его любимейшим писателем был Детю-де-Траси, известный комментатор «Духа законов» Монтескье. «От монархического конституционного образа мыслей был я переведен в республиканский главнейше следующими предметами и соображениями,—об'ясняет следователям и судьям Пестель.—Сочинения Детю-де-Траси на французском языке очень сильно подействовали на меня; он доказывает, что всякое правление, где главою государства есть одно лицо, особенно ежели сей сан наследствен, неминуемо кончится деспотизмом. Все газеты и политические сочинения так сильно прославляли возрастание благоденствия в Северно-Американских Соединенных Штатах, приписывая сие государственному их устройству, что сие мне казалось ясным доказательством в превосходстве республиканского правления.»

Политическое мировоззрение Пестеля развертывается во всей своей логической последовательности в уцелевших частях «Русской Правды». Из предположенных десяти глав нам известны пять. Три первые главы Пестель считал вполне законченными. О содержании ненаписанных глав мы можем судить по другому, дошедшему до нас документу.

Это, так называемый, «Государственный Завет»— проект конституции, сообщенный Пестелем Обществу Соединенных Славян. Если к этому присоединить раннее произведение Пестеля—«Записку о государственном правлении» и «Краткое умозрительное обозрение государственного правления»,— то мы довольно ясно представим себе политическую программу Пестеля.

О каком же государственном и социальном строе он мечтал? Верховная власть, по его плану, разделяется на законодательную, верховно-исполнительную и блюстительную: первая, законодательная, принадлежит «Народному Вечу»; вторая, верховно-исполнительная «Державной Думе»; третья, блюстительная, «Верховному Собору». Народное Вече избирается всеми гражданами, при двух-степеной системе выборов, на пять лет, при чем ежегодно одна пятая часть депутатов обновляется путем новых выборов. При изменении основных законов требуется референдум. Члены Державной Думы в количестве пяти лиц также избираются народом. Им надлежит руководить министерствами. Таковых должно было быть десять, если верить одному из показаний на следствии. Верховный Собор должен был состоять из 120 пожизненных депутатов, задача коих была юридически-формальная. По мысли Пестеля, наш государственный строй должен быть единым и нераздельным. Начала федератизма должны быть исключены. У этого русского якобинца сложилось твердое убеждение, что при разрешении вопроса о создании унитарного государства надо руководствоваться тем, какие народы входят в его состав. Все самоопределяющиеся жизнеспособные государственные единицы могут требовать союза на федеративных началах. Такова, например, Польша. Те же народности, которые ничем не доказали своей государственной жизнедеятельности, должны быть под-

чинены унитарной государственности. Таковыми он считал народности Финляндии, Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Белоруссии, Малороссии, Новороссии, Бессарабии, Крыма, Грузии, Кавказа, Сибири и проч. Все эти народы Пестель предлагал руссифицировать, вводя непременно в школы и государственные учреждения русский язык. Пестель подробно аргументирует принципы своего унитарного государства, косвенно полемизируя с проектом федеративной конституции, предложенным Никитою Муравьевым.

Сословия,—по мысли Пестеля,—уничтожаются. Все равны перед законом. Само собою разумеется, что предварительным условием конституции является уничтожение крепостного права. Вводится с известными ограничениями всеобщая воинская повинность и суд присяжных. Обеспечивается личная неприкосновенность, свобода печати, собраний и союзов. Православная церковь признается государственной, однако, предоставляется свобода культов и для других вероисповеданий, если они не противоречат нравственности.

Социальная программа Пестеля, разработанная им, главным образом, в области аграрных отношений, соответствует духу тогдашнего времени и отчасти даже предвосхищает идеи более поздние. Пестель предлагал разделить все земли в каждой волости на две равные части, из которых «одну отдать, под названием общественной земли, в собственность волостному обществу, а другую, под названием казенной, оставить собственностью казны, входящею в состав государственных имуществ». Существуют два варианта этой аграрной программы. Пестель хотел, с одной стороны, организовать общинное владение землею, с другой стороны, предполагал сохранить и частное землевладение, ограничив его некоторым пределом земельного участка. При этом в принципе

каждый гражданин имел право на известный земельный минимум. «В отношении права собственности на землю,—писал Пестель,—существует два главных мнения. Первое мнение, что земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц, и посему не может она быть разделена между несколькими только людьми, за исключением прочих. По другому мнению, напротив того, труды и работы суть источники собственности, и тот, который землю удобрил и оную способной сделал к произведению разных произростаний, исключительное должен на ту землю иметь право обладания». «Сии два мнения,—говорит Пестель, — совершенно друг другу противоречат, между тем, как каждое из них много истинного и справедливого содержит». Поэтому Пестель предлагает компромиссное решение этого вопроса. «Земля общественная будет всему волостному обществу совокупно принадлежать и будет подлежать обладанию всех и каждого». Таким образом, будет обеспечиваться прожиточный минимум. С другой стороны, некоторая часть земли «предназначается для образования частной собственности для доставления изобилия». Пестель не решился национализировать всю землю. Однако, он сделал некоторый шаг в этом направлении. Что касается крупного землевладения, то и здесь Пестель предлагал компромисс. Собственники, владевшие крупными земельными участками, должны были половину своей земли уступить волости безвозмездно, а другая половина оставалась за помещиком.

При оценке этой компромиссной аграрной программы надо считаться с тем, что в начале XIX века никто еще не предлагал последовательной национализации земли. Во всяком случае среди учеников Монтескье, Детю-де-Траси и Бентама Пестель был не на последнем месте и даже отчасти опередил своих учителей. Признавая принцип частной собствен-

ности, как французский конвент, он в то же время на практике, подобно якобинцам, решался на экспроприацию земли, правда, с известными ограничениями. Но даже эта компромиссная программа была слишком радикальна для большинства его товарищей по Тайному Обществу. Не только надменный и властный характер Пестеля, но и этот его политический и социальный радикализм пугали заговорщиков. В час катастрофы, когда декабристы предстали перед Верховным Уголовным Судом, неожиданно раскрылась та бездна, которая отделяла их от неукротимого революционера.

Революционный стаж Пестеля таков. В конце 1816 года Никита Муравьев ввел Пестеля в организованный Александром Муравьевым, деятельным и убежденным масоном, «Союз Спасения». Для этого союза или «Общества истинных и верных сынов отечества», Пестель написал устав, принятый на заседании 9-го февраля 1817 года. Устав был написан в масонском духе «с клятвою и угрозою смертью за измену». За явной просветительно-филантропической программой скрывалась иная цель — государственный переворот и введение конституционного порядка. Общество прекратило свое существование через четыре месяца. Пестель в это время выехал по службе в Митаву. В Москве летом 1817 года бывшие члены Союза Спасения организовали новое общество—Союз Благоденствия, воспользовавшись, как образцом, совсем не революционной программой Тугенбунда. О деятельности Пестеля в Митаве мы почти ничего не знаем. В ноябре 1818 года мы видим Пестеля на юге России, в Тульчине. Он считается членом Союза Благоденствия, но деятельно, вопреки программе, ведет революционную пропаганду. Здесь он сталкивается с противником в лице умеренного И. Г. Бурцова. Трижды Пестель совершает поездки в Петербург и там агитирует среди членов Союза

Благоденствия, понуждая их к более активной деятельности. В начале 1820 года ему удается на заседании Верховной Думы союза провести республиканскую программу. После московского февральского с'езда 1821 года, когда было постановлено, в отсутствие Пестеля, закрытие Союза Благоденствия, Пестель отверг это постановление и, став во главе Южного Общества, порвал с Бурцовым. В 1823 г., когда начерно была уже написана «Русская Правда», Пестель разрабатывает план государственного переворота, опираясь на три управы—Тульчинскую, Каменскую и Васильковскую. К последней примкнуло Общество Соединенных Славян. Эта же Васильковская управа вела переговоры с Польским Тайным Обществом. Во главе ее стояли С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин, разделившие участь Пестеля на эшафоте. Революционная пропаганда Пестеля была направлена не только против абсолютизма, но также и против «феодальной аристократии» и против «ужасной аристократии богатств». Достигнуть государственного переворота Пестель рассчитывал при посредстве военного заговора и восстания. Власть должна была быть вручена на десять лет Временному Верховному Правлению, которому и надлежало создать новый порядок согласно плану «Русской Правды». Такова канва революционной деятельности Пестеля. Но мы сейчас интересуемся не историей Тайного Общества, а лицом самого заговорщика.

Как ни мало у нас в руках свидетельств и фактов, касающихся личной и частной жизни Пестеля, все же возможно гадательно зарисовать его портрет. Впрочем если бы таких интимных документов не было вовсе, нам, пожалуй, легче было бы определить лицо и характер Пестеля: в самом деле два-три письма, два—три воспоминания,—и цельность образа этого якобинца нарушается, и Пестель уже не ка-

жется таким определенным и прямолинейным. Но есть факты, есть письма, и с этим приходится считаться: из песни слов не выкинешь. Пушкин когда-то назвал Робеспьера «сантиментальным тигром». В Пестеле, как мы уже заметили, было кое-что робеспьеровское и, если он до сантиментальных пасторалей не доходил, то все же его «материалистическому» сердцу, оказывается, были доступны нежные чувства.

В письме из крепости от 1 мая 1826 года Пестель после почтительных и любовных строк, обращенных к родителям, пишет сестре: «Я чрезвычайно растроган нежным твоим участием и твоею дружбою ко мне. Будь уверена, мой добрый друг, что никогда сестра не могла быть нежнее любима, как ты любима мною. Продолжай, дорогая Софи, быть радостью и утешением наших бедных и несчастных родителей, и бог, конечно, благословит тебя в этой жизни и в будущей. Я тоже и за тебя воссылал к нему горячие молитвы и никогда не перестану тебя любить от всего сердца. Прощай, моя дорогая, моя добрая Софи. Твой нежный брат и искренний друг Павел». В тот же день 1 мая 1826 года отец Пестеля писал жене и дочери: «Павел здоров, ведет себя благородно, раскаивается, причащался в субботу на Страстной неделе по собственному желанию у пастора Рейнбота, показал ему кольцо, полученное от матери своей, крестик с распятием, данный ему его любимою сестрою, булавку с маленьким распятием, которую я дал ему, благословляя его в день от'езда из деревни, три года тому назад. Рейнбот был с ним полтора часа наедине и уверяет меня, что он совершенно примирился с богом и нашим спасителем. Он в отчаянии от огорчения, которое нам причинил, беспрестанно думает и говорит о своих родителях с трогательным умилением и нежностью».

Итак, очевидно, в душе Пестеля были тайные противоречия. Их не видели его товарищи по заговору. Для них Пестель был холодный, рассудочный, самоуверенный человек, требовательный и взыскательный. Иные задеты были его надменностью и самым фактом его бесспорного умственного превосходства, другие были поражены его жестокостью. Вот, например, М. И. Муравьев-Апостол, раздраженный настойчивостью Пестеля и его требованием принять безоговорочно программу Русской Правды, пишет своему брату Сергею Ивановичу: «И все это делается из ничтожного тщеславия, ради того, чтобы тоном учителя навязать писанные гипотезы, о которых одному лишь богу известно, применительные ли они или нет...» Или вот, например, нескладный, но изумительный по краскам рассказ Поджио, свидетельствующий будто бы о хладнокровной жестокости Пестеля и о желании его испытать твердость товарища. Дело идет об истреблении царской фамилии.

«Приступили к заговору о совершении невероятного покушения даже в исполнении.

— Давайте,—мне говорит,—считать жертвы, и руку свою сжал, чтобы произвести счет ужасный сей по пальцам.

Видя Пестеля перед собою, я стал называть, а он считать; дойдя до женского пола, он остановил меня, говоря:

— Знаете ли, что это дело ужасное.

— Я не менее вас в этом уверен.

Но тут уж я видел, что он хотел мне дать усмотреть, что я бесчеловечнее его: признаюсь, мне сие больно было»...

И далее:

«Сейчас же после того опыта та же рука стала передо мною и ужасное число было тринадцать. Наконец, остановившись, он, видя мое молчание, говорит так:

— Но этому и конца не будет: ибо также должно будет покуситься на особ фамилии, в иностранных краях находящихся.

— Да,—я говорю,—тогда точно уже конца ужасу сему не будет, ибо у всех великих княгинь есть и дети, говоря, что для сего провозгласить достаточно отрешение их от всякого наследия, добавив, впрочем: кто захочет столь окровавленного престола!

Вслед за сим он мне говорит:

—Я препоручил уже Барятинскому приготовить мне двенадцать человек, решительных для сего.

Довольно мне было сего, чтобы видеть, что до меня сие было уже принято...»

И если этот разговор, свидетельствующий,—по мнению Поджио,—о хладнокровной жестокости Пестеля, можно понять и оправдать психологией революционера, которая в силу необходимости «по ту сторону добра и зла», то, что сказать о другом факте, который не отрицал и сам Пестель—о тех палках, которыми он привел в порядок свой Вятский полк, за что и получил награду от императора, восхищавшегося муштровкою пестелевских солдат. И это в то время, когда все декабристы, как по уговору, отказались от применения в полках телесного наказания, когда один из них, М. Ф. Орлов, будучи дивизионным командиром, писал в приказе: «Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобревшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут...»

Почти на всех декабристов арест и казематы произвели сильнейшее впечатление. Многие из них в одиночном заключении, пересмотрев и переоценив свои убеждения, искали истины в религии. И вот

самый решительный, а по уверению многих, и самый жестокий из них, Пестель, оказался среди верующих, ибо нельзя предположить, чтобы он лицемерно, по каким-либо внешним соображениям, согласился на эшафоте поцеловать крест. Не загадочна ли душа этого гордого и жестокого человека, этого упрямого политического доктринера. Впрочем, это обращение к богу было не совсем неожиданно. По своим убеждениям он был деист. Один из верующих декабристов, Бобрищев-Пушкин, свидетельствует, между прочим, о том, что Пестель не был «атеем». А сам Пестель писал из крепости: «Вы знаете, возлюбленные родители, как искренно я вам всегда говорил о своих религиозных чувствах. Вы знаете, что я всегда вполне верил в бога, создателя нашего, но что вера моя в Иисуса Христа была слабее. Радуйтесь теперь со мною. Я обрел и сие убеждение, и вера в нашего создателя составляет теперь мое счастие и мое утешение. Я вижу жизнь в другом виде, и смерть содержит для меня восхитительные надежды...»

3 июня 1826 года было последнее свидание Пестеля с отцом, в крепости, в присутствии коменданта. После беседы отец и сын молились на коленях. Пастор Рейнбот, видевший Пестеля после сообщения ему в сенате смертного приговора, рассказывал, как он, дрожа, не смел взглянуть в глаза обреченному. Но Пестель был тверд и спокоен. Пастор сказал: «Помните слова спасителя кающемуся разбойнику.—Сегодня же ты будешь со мною в раю». Тогда Пестель, упав на колени, воскликнул: «Да, мой спаситель, с тобою, с тобою...»

Политический вольнодумец, получивший свое образование по программе и в духе французских энциклопедистов, протестант по воспитанию и вероисповеданию, казалось бы, Пестель должен был во всяком случае чуждаться церковного христианства, но, как это ни странно, у этого непримиримого революю-

ционера было влечение именно к нему. Если предположить, что он, по тактическим соображениям, признал в своей Русской Правде православную церковь государственной и господствующей, то как объяснить то, что он уклонился от последнего напутствия пастора на эшафоте и предпочел приложиться ко кресту православного священника? Но еще загадочнее сообщение Поджио.

Однажды Пестель, после разговора об организации временного правительства, спросил своего собеседника:

— Когда я кончу все свои дела, то что, вы думаете, я намерен сделать?

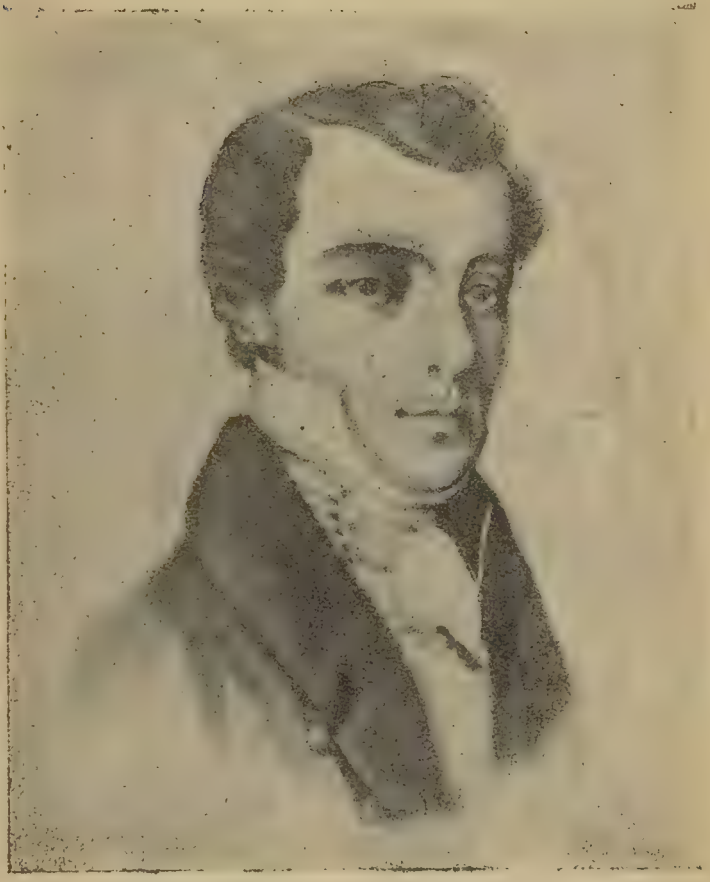
— Не могу знать,—говорю.

—Никак не отгадаете: удалюсь в Киево-Печерскую лавру и сделаюсь схимником.

— Это что за мысль!

— Тогда я возьмусь за веру,—мне говорит.

Мы решительно ничего не знаем о том, влюблялся ли Пестель, любил ли он какую-нибудь женщину. Возможно, что когда-нибудь найдутся документы, об этом свидетельствующие. Но пока на это нет даже намека. И кажется, что это не случайно. В нравственном облике Пестеля было что то монашеское. Весь поглощенный одною своей идеей, он аскетически относился к миру и к людям. Требовательный к самому себе, он также взыскательно и строго относился к другим. Чувствуя в себе этот аскетический дух, он, вероятно, мечтал иногда с совершенной искренностью уединиться и там, в уединении, решить для себя некоторые вопросы, которые невозможно было решать в условиях политической борьбы.



Кондратий Федорович Рылеев.

Рылеев.

I.

Когда заговорщики ворвались в царскую спальню, и гр. Зубов ударил императора Павла табакеркой, отчего тот и скончался, будущему поэту и декабристу Кондратию Федоровичу Рылееву, коему впоследствии было пред'явлено обвинение в том, что он «умышлял на цареубийство», было всего только шесть лет. Однако, крошечный Коня, как звала Рылеева его мать, был уже не под отцовским кровом: как раз на другой день после убийства Павла, т.-е. 12 марта 1801 года, он получил звание «кадета малолетнего отделения» Первого Петербургского Корпуса. От заговора к заговору. От цареубийства до мятежа на Сенатской площади. Декабрист М. А. фон-Визин в своей известной записке подробно рассказывает со слов очевидца о судьбе Павла. И тогда, накануне одиннадцатого марта, как и спустя двадцать пять лет, в ночь с тринадцатого на четырнадцатое декабря, заговорщики говорили о «бедственном положении России, о том, что «самовластие императора губит ее», и что оно «угрожает тысячам безвинных жертв, беззащитных от его произвола и прихоти...» Разница была лишь в том, что убийцы императора Павла, будучи приглашены в великолепный дом графа Палена, пили в роковую ночь очень много шампанского, а спустя двадцать пять лет в скромной квартире Рылеева, в доме Российско-Американской компании, на Мойке, близ Синего моста шампанского не пили вовсе, однако, накануне 14 декабря многие из

заговорщиков были и без вина пьяны. Даже трезвый Рылеев, которого Пушкин за рассудочную деловитость звал «планщиком», как будто охмелел на один час. Впрочем, трезвость Кондратия Федоровича была и прежде сомнительна и Пушкинское прозвище относится к стихотворцу Рылееву, автору патриотических «дум», а не к члену Верховной Думы Северного Общества.

Итак, посмотрим, что, примерно, сто двадцать пять лет тому назад, чувствовал и думал шестилетний Коня Рылеев. Седоусый гатчинский солдат, надевая на него не по мерке сшитые казенные штаны, бормотал что-то угрюмо об убитом императоре. Те самые караульные гренадеры, которых продержали недвижными под ружьем пока шла расправа с царем, на утро разболтали все, и в городе открыто говорили о событии. Неизвестно, уразумел или нет маленький Рылеев смысл тогдашних разговоров, но таинственная легенда, оказавшаяся сущею правдою, не могла не запасть ему в душу.

А какие впечатления остались у него от отцовской деревни, откуда его торопливо увезла мать? В день отъезда Анастасии Матвеевны из киевской усадьбы, когда она вместе с Коней усаживалась в тарантас, из конюшни неслись раздирающие вопли: это по приказу Федора Андреевича Рылеева, отца поэта, нещадно секли буфетчика за какую-то провинность. Тульский дворянин, подполковник Рылеев, «за мужественную атаку шведского корпуса» пожалованный орденом Владимира 4-й степени, по недостатку средств взял на себя управление имениями княгини Варвары Васильевны Голицыной. Ребенок был свидетелем, как отцу приходилось гнуть спину перед строптивою княгинею, и екатерининский служака вымещал унижение на своих холопах. Не щадил он и жены, и даже в припадке гнева запер ее однажды в погреб. Сын и это запомнил. В Петербурге

жизнь была не лучше. Как раз в это время назначен был директором корпуса ни кто иной, как один из видных немецких поэтов «Sturm und Drang'a»,— друг Гете, автор романа «Der Weltmann und der Dichter» (1798) и страстной трагедии «Konradin». Поклонник Руссо и филантропической философии, оказавшись в пределах нашего отечества, усвоил себе одно твердое убеждение: человечество, оказывается, разделяется на «людей» и «русских». Практика этого метафизика и поэта ничем не отличалась от практики Екатерининского бригадира: детей при нем секли в Кадетском Корпусе так же нещадно, как и дворовых на конюшне Рылеева в киевской усадьбе.

Клингер не догадался, что среди его воспитанников находится будущий собрат его по парнассу. Немец был занят сочинениями, которые он посылал для печати в Германию, каждый раз предупреждая русскую цензуру о необходимости наложить на них строжайший запрет, если они проникнут в Россию: свои произведения он считал опасными и вредными для варварской страны. Занятый в часы досуга дрессировкою собак, он мало интересовался воспитанием вверенных его попечению молодых дворян, полагая, что розги самое надежное педагогическое средство. Один из его воспитанников сообщал впоследствии: «Утром почти ежедневно в роте раздавались крики и вопли детей».

Но розги не устрашили Рылеева. Чем строже и больнее наказывали мальчика, тем строптивее он становился. По преданию он нередко брал на себя чужую вину и ложился под розги, удивляя товарищей.

У этого мальчика были необыкновенные глаза— огромные, темные, со странно расширенными зрачками, и казалось, что в них зрела укоризна кому-то. Рылеев пробыл в корпусе двенадцать лет. Тут учился он иностранным языкам, математике, физике,

истории, географии, фортификации, артиллерии и рисованию. Но, повидимому, душа юноши настроена была не в полном соответствии с программою тогдашней военной школы. Об этом свидетельствуют тетрадки кадета, где сохранились нескладные, но уже исполненные пафоса «Опыты в стихах Кондратия Рылеева». Несмотря на розги и павловскую военную муштровку, Рылеев бредил любовью к отечеству и к «обожаемому монарху». Оторванный от жизни и лишенный какого бы то ни было руководительства, он сочинил фантастическую Россию, фантастического Наполеона и самого себя, фантастического Рылеева. Вся эта фантастика исполнена была необычайной чувствительности, свойственной веку, и Рылеев иначе не мог выражать свое настроение, как самыми ходульными, риторическими и сантиментальными признаниями в стихах и в прозе. Надо представить себе физиономию подполковника Рылеева, человека достаточно сурового, трезвого и к тому же за три года не пожелавшего написать своему сыну ни одного письма, когда он в декабре 1812 года получил от этого самаго заброшенного им юноши послание, где были следующие строки: «...Любезнейший родитель, я знаю свет только по одним книгам, и он представляется уму моему страшным чудовищем, но сердце видит в нем тысячи питательных для себя надежд. Там рассудку моему представляется бедность во всей ее обширности и горестном ее состоянии; но сердце показывает эту же самую бедность в златых цепях вольности и дружбы»... «Там, в свете, ум мой видит ряд непрерывных бедствий—и ужасается. Несчастия занимают первое место, за ними следуют обманы, грабежи, вероломства, разврат, и так далее»... «Так говорит мне ум, но сердце, вечно с ним соперничествующее, учит меня противному: Иди смело; презирай все несчастия, все бедствия, и если оные настигнут тебя, то переноси их с истин-

ною твердостью, и ты будешь героем, получишь мученический венец и вознесешься превыше человеков. Тут я восклицало: Быть героем, вознестися превыше человечества! Какие сладостные мечты! О, я повинуюсь сердцу!»—В чем же видит юноша Рылеев свой героический подвиг? В защите «царя и отечества»! «Обожаю я монарха нашего, потому что печется о подчиненных своих, как отец, обожающий чад своих, и как царя, над нами богом поставленного. Хочу возблагодарить его; но чем же и где мне его возблагодарить? Чем, как не мужеством и храбростью на поле славы?». Далее в письме идет перечень необходимых для «поля славы» предметов—рейтузы, кивер с кишкетами, шишак, конфедератка, шарф серебряный и т. д. На все это нужно полторы тысячи. Рылеев надеется, что «виновник его бытия» пришлет ему, кроме того, пятьсот рублей на дорогу и пятьдесят рублей «при первом же письме», дабы нанять учителя «биться на саблях».

В ответ на патетическое письмо сына, подполковник Федор Андреевич написал: «Ах, любезный сын, сколь утешительно читать от сердца написанное, буде то сердце во всей наготе неповинности откровенно и просто, говоря собственными его, а не чужими, либо выученными словами. Сколь же, напротив того, человек делает сам себя почти отвратительным, когда говорит о сердце, и обнаруживает при том, что оно наполнено чужими умозаключениями, натянутыми и несвязными выражениями, и что всего гнуснее, то для того и повторяет о сердечных чувствованиях часто, что сердце его занято одними деньгами»...

В начале 1814 года Рылеев, зачисленный прапорщиком в артиллерийскую бригаду, тотчас же отправился в заграничный поход, не получив от отца ни единой копейки. В том же году отец поэта умер,

оставив сыну в наследство разоренное именье и тяжбу с княгинею Голицыною.

Итак, Рылеев увидел Пруссию, Саксонию, Баварию, Швейцарию и «прекрасную Францию». Осенью 1814 года Рылеев очутился в Дрездене, где у него нашелся покровитель генерал М. Н. Рылеев, занимавший в городе пост коменданта и приходившийся поэту дядей. У него с племянником установились самые идиллические отношения. Племянник в письме к матери сообщает, что «такого дяди, как он, больше другим не найти. Добр, обходителен, помогает, когда в силах; ну, словом, он заменил мне умершего родителя».... «В день моего рождения подарил он мне на мундир лучшего сукна». Но идиллия эта продолжалась недолго. Русские, жившие в Дрездене, подали на Рылеева жалобу. В чем было дело, и чем Рылеев обидел почтенных соотечественников—мы точно не знаем, но последствием этого столкновения была ссора племянника с дядюшкою. По семейному преданию, которому, впрочем, биограф не совсем доверяет, дрезденский комендант приказал племяннику покинуть Дрезден в 24 часа. «Если ты осмелишься ослушаться,— сказал он,— предам военному суду и расстреляю».—«Кому быть повешенным, того не расстреляют»,— будто-бы отвечал Рылеев.

Позднее с Рылеевым в Париже случилась история, которая кажется скептикам мало достоверною. Поэт забрел к знаменитой парижской гадалке Lenormand. Автор воспоминаний рассказывает: «Когда к ней подошел Рылеев, она, заглянув на его руку, оттолкнула ее как бы с ужасом и отказалась предсказать ему его судьбу. Он стал настаивать, и вся молодежь с любопытством окружила прорицательницу. Наконец, гадальщица уступила, долго вглядывалась и пробормотала: «Вы не умрете естественной смертью»..

Повидимому, это предсказание, если оно действительно было, нисколько не повлияло на настроение

Рылеева. Он не думает о смерти и занят земными впечатлениями. В тогдашних письмах девятнадцатилетний Рылеев продолжает облекать свои мысли в высокопарные и сантиментальные фразы. Париж удивляет юношу. Зайдя в Пале-Рояль, он нашел там «обиталище сих презренных жертв распутства, кои в толиком множестве» там толпятся. «Без ужаса не могу вспомнить о них!—признается он.—Красота некоторых чрезвычайна! В ином месте не смел бы и подумать об них худо, когда бы твари сии своими нахальствами себя не изобличали. Некоторые из них до того дерзки, что не в силах будучи убедить следовать за собою слогами своими и красотой, хотят понудить к тому насильно, хватая за руку. Ты знаешь мою стоическую твердость против искушений сего рода; и следственно не можешь сомневаться, что друг твой и в Пале-Рояле избег сетей соблазна».

В сентябре 1815 года Рылеев пишет из Парижа о судьбе Наполеона: «И как поверить, что в продолжение не более десяти лет возрождалось и упадло до десяти государств, восстановлялось и низвергалось несколько монархов—и все по прихотям одного человека! Как, наконец, поверить, что сей самый человек, неоднократно повелевавший судьбою, сам попал под острие косы, сей владычицы мира!!».

В следующем письме Рылеев сообщает о своем посещении Лувра, где он видел «Рафаэля и Мишель-Анжа». Но, кажется, они не произвели на него сильного впечатления,—зато он патетически пишет: «Наши союзники надменностью и жестокостью своею скоро выведут из терпения народ, в сердцах которого еще с прежней горячностью кипит любовь к независимости и славе»... Рылеев присутствовал при уличной сцене, когда пруссак оскорбил парижанина и собралась протестующая толпа. При этом у нашего соотечественника произошел трогательный разговор с каким-то французом-инвалидом, и они,

в конце-концов, поговорив о рабстве, чести и свободе, заключили друг друга в об'ятия.

23 сентября того же пятнадцатого года Рылеев пишет: «Наконец, я оставляю Париж, сию шумную столицу забав и веселостей, сие обиталище разврата и пороков. Я оставлю сей Лавиринф, в коем тысячи Минотавров, облеченных в приманчивую одежду сладострастия и неисчерпаемых наслаждений, ежеминутно ожидают жертв для утоления жажды своей; но, ах, оная никогда не утолится!—Горе неопытному юноше, блуждающему в оном без доброго наставника—гибель неизбежно ожидает его на каждом шагу. Здесь цветет Роза. Прелесть ее ослепляет взоры твои, обаяние прельщается—ты стремишься сорвать приманчивый цветок. Стой! Это расставленные тебе сети. Страшись запутаться в оных, или ты погибнешь!.. Ты удивляешься,— не доверяешь, но посмотри на цветок сей не пылким взором разгоряченного юноши, но взором проницательности, хладнокровного старца, коего зрение на сей раз превосходнее твоего; посмотри, говорю я—и ты увидишь, что Роза сия не натуральна, что благоухание оной не сходно с благоуханием свежего цветка, разливающего оное в поле».

Между первым и вторым заграничным походом Рылеев успел побывать в России. К этому времени относится его письмо к матери из Несвижа Минской губернии, где он квартировал с командою для обучения верховой езде. Письмо хозяйственное. Между прочим, он пишет: «Впрочем об деньгах теперь не забочусь—и, слава богу, я кой-что уже исправил, чему много помогло сукно, купленное мною за границею и проданое здесь весьма выгодно». Тяжба с княгиней Голицыной еще не была улажена. Он собирается написать ей письмо. При этом он восклицает: «О, вельможи! О, богачи! Неужели сердца ваши не человеческие? Неужели они ничего не чувствуют, отнимая по-

следнее у страждущего? Но, удивляясь бесчувственности человечества к страданиям себе подобных, я утешаю себя сладостью надежды на Спасителя, который в противность варварства людей, гонимых ими всегда бывает последним и лучшим прибежищем и защитою».

В конце письма опять житейское: «Также покорнейше прошу купить в Петербурге золотые, на черном сукне конно-артиллерийские петлицы, также для вальтрапа золотой прибор».

После Парижа, избегнув соблазна и не вдохнув ядовитого благоухания «ненатуральной розы», юный Рылеев очутился с своею бригадой в Воронежской глуши. Бригада расположилась на лето в слободе Белогорье, в полуверсте от Дона. Оказывается, и в этой глуши есть свои «веселости». Рылеев доволен товарищами. В письме к матери он пишет: «Время проводим весьма приятно: в будни свободные часы посвящаем или чтению, или приятным беседам, или прогулке»... «Под вечер бродим по берегу Дона и при тихом шуме воды и приятном шелесте лесочка, на противоположном берегу растущего, погружаемся мы в мечтания»... «Иногда посещаем живущую в слободе вдову генерал-майоршу Анну Ивановну Бедряту»...

Однако, надо думать, что в течение трех лет с 1817 по 1820 г. Рылеев был занят не только идиллией на берегу Дона, при «шелесте лесочка» и посещениями гостеприимной генерал-майорши Бедряги: будущий декабрист вывез из Парижа не только воспоминания о прелестницах Пале-Рояля, внушивших ему антипатию, но и запас некоторых политических и социальных идей,—а главное—стыд за свою крепостную Россию и ничем не ограниченное самодержавие. Об этом он ничего не говорит в своих письмах к матери, зато он не счел нужным утаить это от императора после своего ареста в декабре 1825 года.

Но тогда, в это трехлетье, в Воронежской глуши, для Рылеева еще не наступил срок деятельного опыта. Зато в эти три года у Рылеева был опыт любви. Предметом его страсти была юная дочка Воронежского помещика Наталья Михайловна Тевяшева. Если верить Рылееву, она была исполнена всевозможных достоинств и очарований. Она «имеет только тот порок, что не говорит по-французски», и Рылеев, конечно, пренебрегая этим недостатком, клянется в том, что будет любить ее вечно. Но на путях молодых любовников были препятствия.

Прежде всего мать Рылеева предупреждает сына о житейских невзгодах и о том, что любовь непрочна: «Ты, говоришь,— пишет она,— люблю ее и надеюсь, что любовь продолжится вечно. Ах, друг мой, ты еще не знаешь, какая это птица—любовь! Как прилетает, так и улетает;—покойный отец твой говорил мне: вечно любить тебя стану—и его любовь улетела»...

Но увещания матери не подействовали. Рылеев, махнув на них рукой, решил жениться во что бы то ни стало. Но тут было препятствие посерьезнее: отец красавицы. Рылеев стал действовать. Однажды он вошел в кабинет к старику Тевяшеву и, конечно, очень витиевато и патетически описал ему свои чувства к Наташе. Отец решительно отказался благословить дочь на такой брак и долго об'яснял молодому человеку, почему такой союз невозможен. Рылеев приставил к виску пистолет и об'явил, что не выйдет из комнаты живой, если не получит согласия на брак. Тогда распахнулась дверь, в комнату ворвалась Наташа с криком: «Папенька, отдайте за Кондратия Федоровича или в монастырь!».

Делать было нечего. 22 января 1820 г. влюбленных повенчали. Вскоре Рылеев вышел в отставку и переехал с молодою женою в Петербург. Он нанял квартиру на Васильевском Острове, по 16-й линии, между Большим и Средним проспектами, в маленьком

деревянном доме Безбородова. Тут же поселилась его побочная сестра Анна Федоровна. Накануне от'езда в Петербург Рылеев побывал в своей родовой деревне Батове, где местное дворянство выбрало его в заседатели Петербургской Палаты Уголовного Суда. Если верить Н. А. Бестужеву, Рылеев так честно и мужественно защищал на правах заседателя интересы обиженных, что его удивительная для того времени неподкупность вошла в пословицу. В Уголовном Суде Рылеев прослужил четыре года. Потом он перешел на службу в качестве правителя канцелярии в Российско-Американскую Компанию, которая управляла торговыми оборотами русских колоний в Америке. Такова была внешняя бытовая жизнь Рылеева. Но что у него делалось в душе? Когда и как созрела у него решимость пожертвовать собою? Легко проследить те пути, по коим пришел он к идее народоправства и демократии: не надо быть слишком зорким, чтобы увидеть цепь фактов, понудивших юношу отшатнуться от старого порядка. Все, начиная от детских розог и кончая бредом «аракчеевщины», должно было внушить ему отвращение к тогдашней нашей духоте. А либеральные идеи, как панацея от всякого зла, висели в воздухе. Обстоятельства питали и поддерживали соответствующее настроение Рылеева: западно-европейская гражданственность, соблазнившая многих наших офицеров, побывавших в походах 1814 и 1815 годов, должна была произвести впечатление на Рылеева. А попав на родину в Острогожск, Саратовской губернии, юноша неожиданно нашел и здесь подходящую для себя среду. А. В. Никитенко в своих «Записках» рассказывает любопытные вещи про этот уездный городок. Оказывается, здесь процветала заводская промышленность и уездные буржуа старались не отстать от вольнодумных дворян, с'езжавшихся в городок на ярмарки. Повидимому, здесь преобладали не Чичиковы, Собакевичи и Петухи, а какие-то иные типы. «У многих,

даже у купцов и мещан, были коллекции книг серьезного содержания, например: «Юридические сочинения» Юсти, «Конституция Англии» Делольма, «Персидские письма» Монтескье и его же «Дух законов», в переводе Языкова, «О преступлении и наказании» Беккарии, сочинения Вольтера на русском языке»... «В обществе толковали о науке, искусствах, обсуждали вопросы внешней и внутренней политики. Иные до того увлекались либеральными веяниями, что даже восхищались представительными формами правления»...

Конечно, и Рылеев прочитал все эти книжки, доступные даже для Острогожских мещан. Кстати у нас есть тому фактические подтверждения. Тот же А. В. Никитенко, зайдя в Острогожске во время ярмарки в книжную лавку, заметил изящного артиллерийского офицера, который пленил его «тихим сиянием» темных и в то же время ясных глаз и «кротким и задумчивым выражением всего лица». Молодой офицер купил «Дух законов» Монтескье и, заплатив деньги, велел книгу принести к себе на дом, назвав себя поручиком Рылеевым. Никитенко не подозревал тогда, что в 1824 году этот самый поручик добьется освобождения его, Никитенки, от крепостной зависимости.

«Рылеев в то время управлял канцелярией нашей американской торговой компании и жил в компанейском доме, у Синего Моста,—рассказывает Никитенко,—Квартира Кондратия Федоровича помещалась в нижнем этаже. Окна ее со стороны улицы, были защищены выпуклою решеткою. Теперь дом этот перестроен, но он долго был для меня предметом скорбных воспоминаний, и я не мог пройти мимо без сердечного волнения. Было одно окно особенно: оно выходило из кабинета, где я познакомился ближе с хозяином, слушая, как он декламировал свою, только что оконченную поэму «Войнаровский». Со мною вместе слушал и восхищался офицер в простом армейском мундире—

Боратынский»... «Я не знал другого такого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как Рылеев. Среднего роста, хорошо сложенный, с умным серьезным лицом, он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим заглянуть поглубже в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем безвозвратно отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в них сосредоточенной силы и огня. Но таким я узнал его позже»....

Не один Никитенко восхищался Рылеевым. Должно быть в нем было какое-то очарование. Он был окружен едва ли не самыми характерными и значительными людьми эпохи. Он был даровит. Но, кажется, он считал себя неудачником. И неслучайно один из современников приписывает ему слова о неудавшейся жизни, произнесенные будто бы им на эшафоте. И в самом деле, для политического деятеля он был слишком лиричен и даже сантиментален, а для поэта он был слишком рассудочен. Сказанное им о себе «я не поэт, а гражданин» едва ли может его оправдать, ибо гражданину, даже самому почтенному и мужественному, нет нужды писать стихи, коими Рылеев не переставал заниматься от юности до последних дней в каземате. Но Рылеев не совсем был прав: у него все-таки был некий «жар души», свойственный лирику. Ему, правда, вовсе не удавались мотивы любовной нежности и чувственных влечений, и как то стыдно читать его послания «К Делии», где он рассказывает вовсе неблагозвучно, как его героиня бросится к нему, нежному супругу, на шею после какой-то разлуки:

И ты в об'ятия к нему полунагая
С постели бросишься, вся в радости, в слезах,

И я забуду все, на трепетных грудях,
В восторге пылком утопая....

Впрочем Рылеев не очень прилежно пел наслаждения «на трепетных грудях» решив, что ему надлежит быть певцом гражданственности. В 1820 году в «Невском Зрителе» появилось его «Подражание Персиевой сатире к Рубеллию»—«К временщику». Все усмотрели в этой сатире обличения Аракчеева. Приятель Рылеева, А. А. Бестужев, несколько преувеличивая впечатление, произведеное на общество сатирою, пишет: «Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут и на дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире»... «С этого стихотворения началось политическое поприще Рылеева. Пылкость юношеской души, порыв благородного негодования и меткие удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили общее внимание. Уж в России начали чувствовать тягость деспотизма, видеть бедствия, угнетающие отечество, и помышлять о средствах для введения нового, лучшего порядка вещей»...

Обращаясь к временщику, Рылеев декламирует патетически:

Твои дела тебя изобличат народу;
Признает он, что ты стеснил его свободу;
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты...
Тогда вострепещи, о, временщик надменный.
Народ тиранствами ужасен раз'яренный...

Плодом патриотических влечений Рылеева явились его «Думы»—«Димитрий Донской», «Глин-

ский», «Курбский», «Борис Годунов», «Иван Сусанин», «Петр Великий в Острогожске» и др. Пушкин в письме к Рылееву высказался о них со свойственной ему неотразимой лапидарностью: «Что сказать тебе о «Думах»? Во всех встречаются стихи живые, окончательные строфы Петра в Остр. чрезвычайно оригинальны. Но вообще они все слабы изобретением и изложением. Все они на один покрой. Составлены из общих мест (Loci topici). Русского нет в них ничего кроме имен (исключая Ив. Сусанина, первую думу, по коей начал я подозревать в тебе истинный талант)»...

В письме к Вяземскому, похвалив «Войнаровского», тот же Пушкин пишет: «За то думы дрянь и название сие происходит от немецкого dum, а не от польского, как казалось бы с первого взгляда»...

Здесь все по-пушкински метко. В самом деле в этих Рылеевских думах есть какая-то неумность, свойственная «общим местам». Справедливо отмечена оригинальность заключительных строф думы о Петре Великом. И понятно, что дума «Иван Сусанин» понудила Пушкина признать в Рылееве поэта. В этой пьесе есть подлинное очарование баллады и этим она выгодно отличается от прочих Рылеевских дум.

Когда перелистываешь мемуары и письма современников Рылеева, в коих упоминается его имя, удивляешься многообразной и кипучей его деятельности. Ведь он прожил в Петербурге всего только пять лет. А между тем сколько у Рылеева дружеских связей, встреч, вражды, литературной работы, политической пропаганды... При этом он был добросовестным чиновником, а на службе в Российско-Американской Компании получил даже дорогую енотовую шубу, как награду за свои способности и прилежание. Впрочем, Рылеев на этой последней службе, если верить Гречу, «под конец валил через пень колоду, одурев от либеральных мечтаний».

У Рылеева бывали традиционные завтраки для приятелей. «Завтрак неизменно состоял из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба». На Рылеевскую «капусту» тянуло не только литературную молодежь, но и светских молодых людей, тогдашних гвардейцев и аристократов. Эта простонародная водка и закуска были придуманы, пожалуй, талантливее, чем несколько фальшивые патриотические «думы». За этими завтраками можно было услышать то, чего нельзя было услышать в других домах. Правда, решетка на окнах Рылеевской квартиры у Синего Моста была как будто символической, но водочный хмель поддерживал иллюзию, что можно эту аракчеевскую Россию свалить «одним махом». По крайней мере у Рылеева, по выражению Пушкина, была «размашка в слоге». Вот эту словесную «размашку» попробовали перенести в жизнь на Сенатской площади 14 декабря.

Итак, Рылеев был весь в делах и планах. Недаром Пушкин назвал его «планщиком». Из заседания акционерной Российско-Американской Компании Рылеев спешил на заседание Вольного Общества Любителей Российской Словесности, где был членом весьма деятельным, — отсюда домой, где его ждал А. А. Бестужев, с корректурным листом «Полярной Звезды».

А в тот же день к вечеру надобно было ехать в масонскую ложу «Пламенеющей Звезды», где Рылеев числился «братом первой степени».

Вокруг «Полярной Звезды» Рылеев собрал поэтов — Жуковского, Пушкина, Дельвига, Гнедича, Крылова и др. А. А. Бестужев-Марлинский был секретарем деятельным и даровитым. Но петербургские романтики успели выпустить лишь три альманаха. Рылееву пришлось надеть через плечо солдатскую сумку и

стать в ряды бунтовщиков. Тогда ему было не до стихов. И «Полярная Звезда» погасла.

И вот среди этих общественных трудов и забот, окруженный толпою требовательных друзей; пламенный гражданин и самолюбивый поэт обуреваем еще и личными пристрастиями и страстями. Еще недавно в кабинете Михаила Андреевича Тевяшева он, приставив к виску пистолет, уверял будущего тестя, что умрет тут же на месте, ежели он не благословит на брак с ним прелестную Наташу. И вдруг—новое и странное увлечение. Некая г-жа К., светская женщина и клиентка его по какой-то тяжбе, успела очаровать поэта своими прелестями. Об этой истории довольно безвкусно поведал нам Н. А. Бестужев. Кажется, впрочем, увлечение кончилось ничем: Рылеев узнал случайно, что загадочная дама—провокаторша III отделения.

Возможность собственного падения, которого он избег случайно, не помешала ему воспылать страшным гневом, когда он узнал, что его побочная сестра, девица вполне зрелая, увлеклась восемнадцатилетним подпоручиком Финляндского Гвардейского полка, князем Шаховским. Рылеев при встрече плюнул в лицо молодому князю, последствием чего была дуэль. Условия были фантастические: стрелялись без барьера. Каким то чудом пуля Рылеева попала в пистолетное дуло противника, а Шаховской, стрелявший первым, ранил поэта в стопу. Рылеев воспламенялся не только по личным поводам. Однажды он избил и оплевал на улице какого-то господина, уклонившегося от дуэли с его другом А. А. Бестужевым. И это не было простым бреттерством. Каждый раз мотивом для драки было оскорбленное «гражданское» чувство. Одна из дуэлей, в коей, однако, Рылеев был только секундантом, послужила поводом для общественной манифестации. Флигель-ад'ютант Новосильцев, аристократ и богач, скомпрометировал как-то

сестру скромного и бедного подпоручика Семеновского полка Чернова. Состоялась дуэль и оба юные противники были смертельно ранены. На похороны Чернова собралась огромная толпа. Это был протест «демократов» против «врагов народа»... Рылеев сочинил по этому поводу неудачное стихотворение:

Клянемся честью и Черновым
Вражда и брань временщикам...

Но все же, несмотря на странное смешение таких понятий, как «честь», «месть», «гражданственность» и прочее, Рылеев петербургский мало похож на сантиментального подпоручика, писавшего патетические письма из Парижа об ужасных «тварях» Пале-Рояля, наслаждавшегося в Острогожске нежною дружбою, гостеприимством генерал-майорши Бедряги и «шелестом лесочка». Пушкин писал про Рылеева: «Он вдруг вырос». Это можно отнести не только к его поэтической деятельности, но и к нему, как человеку. Рылеев возмужал. В письме к Л. С. Пушкину из Одессы в 1824 году Пушкин упоминает о его поэме: «С Рылеевым мирюсь: Войнаровский полон жизни».

Многие обращали внимание на пророческий характер дум и поэмы Рылеева. В самом деле, при явном несовершенстве и художественном бессилии поэтических опытов Рылеева, в них есть как бы предчувствие какой-то гибели, жертвы и возмездия. Везде у Рылеева изгнанники, борцы за отечество, за свободу,—везде возмущение несправедливостью, мятежные речи,—везде бунт и казнь. Зная жизнь и смерть Рылеева, с особым чувством читаешь его «Исповед Наливайки»:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла!

Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной,—
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю.

В первый же год своего пребывания в Петербурге Рылеев стал членом «Пламенеющей Звезды». Эта ложа, где, кстати сказать, занятия происходили на немецком языке, была в союзе Астреи. Вопреки мнению некоторых биографов, приходится признать сообщение Д. Кропотова достоверным. Увлечение масонством было в духе Рылеева, а делать что-либо наполовину он не мог. Да и тот бесспорный факт, что он числился в списках ложи действительным членом, говорит сам за себя. Выход его из ложи в 1823 году был, вероятнее всего, условным для того, чтобы свободнее действовать в качестве члена Северного Общества. Тайная связь с ложей, повидимому, продолжалась. В минуту ареста он был озабочен одним только—уничтожением масонских бумаг и дипломов, спрятанных у него в комнате.

Нет, Рылеев остался верен до конца тем клятвам, которые он дал перед грудою костей и черепом, когда брат ритор излагал ему правила ордена. На него, давно утратившего духовный опыт церкви, а между тем по складу ума и души жаждущего какой-то незыблемой правды, масонские обряды, стуки молотков, шпаги, приставленные к груди, а главное высокая цель всеобщего братства, завещанного будто бы «великим мастером» Соломонова храма—все это влияло на Рылеева, и он принимал масонство без критики, как и большинство тогдашних молодых людей. Что мог тогда противопоставить масонству Рылеев? По свидетельству одного современника, на его вопрос, верит ли он в бога, Рылеев ответил, что он убежден,

что есть «нечто высшее». Больше ему нечего было сказать. И конечно, его не могла убедить в своей правоте казенная церковь, представленная монахом Фотием и зверем Аракчеевым. Иной церкви, спасавшейся в Саровской пустыни, удаленной от власти и политики, он не знал. А масонство обещало деятельную жизнь и это было так соблазнительно.

Вскоре представился случай перейти от теоретических занятий, под руководством братьев «Пламенеющей Звезды», к жизненной практике, направленной к той же цели—свободе и братству народов

Член Северного Общества Ив. Ив. Пущин в конце 1822 года обратил внимание на уже известного тогда, как литератора, Кондратия Федоровича Рылеева, сослуживца его по Уголовной Палате, сблизился с ним и принял его в число членов Общества. Судьба Рылеева была решена. В начале 1823 года с ним познакомился князь Е. П. Оболенский, который в своих воспоминаниях витиевато описывает наружность поэта: «Роста он был среднего. Черты лица его составляли довольно правильный овал, в котором ни одна черта резко не обозначалась перед другою. Волосы его были черны, слегка завитые, глаза темные, с выражением думы и часто блестящие при одушевленной беседе; голова, немного наклоненная вперед при мерной поступи показывала, что мысль его всегда была занята тою внутреннею жизнью, которая выражалась в вдохновенной песне, когда приходила минута вдохновения, в другие времена искала осуществления той идеи, которая была побудительным началом всей его деятельности». В это время у Рылеева была уже дочка лет четырех, Настенька, смугленькая и живая, которая «одушевляла своим присутствием его домашнюю жизнь». Оболенский рассказывает далее, что он встречал тогда в доме Рылеева немало известных литераторов и некоторых будущих декабристов — Вильгельма Кюхельбекера, Федора

Глинку, Никиту Муравьева, кн. С. П. Трубецкого, кн. Александра Оболенского и др.

В начале 1824 г. произошло два события—знакомство Рылеева с П. И. Пестелем, приехавшим в Петербург для об'единения Южного и Северного Обществ, и от'езд кн. Трубецкого в Киев. Так как Трубецкой был членом Верховной Думы Общества, пришлось его заменить другим лицом. С этих пор во главе Северного Общества стал Рылеев. Насколько он был талантливым организатором заговора — судить очень трудно. Во всяком случае он был самым заметным и деятельным его участником. Он принял в Общество целый ряд лиц: А. Бестужева и его братьев, Батенькова, Кюхельбекера, Завалишина, Одоевского, Каховского и мн. др. Менее всего Рылеев был конспиратором. На его «русских завтраках», где подавалась капуста и водка, шли разговоры весьма откровенные и с людьми вовсе не принадлежавшими к Обществу, напр., с А. С. Хомяковым, который в ответ на Рылеевские мечтания о военной революции, утверждал, что из всех революций «самая несправедливая» именно военная. Кстати сказать, своею неотразимою диалектикою Хомяков довел однажды пламенного, но не очень философичного Рылеева до такого отчаяния, что он без шапки убежал из собственной квартиры, спасаясь от спорщика.

Герцен говорил, что Рылеев был «Шиллером заговора». Это было сказано остроумно. Менее удачно. Н. И. Тургенев назвал Рылеева Вашингтоном, противополагая ему Пестеля, которого называл Бонапарте. Зато Греч упрощал истину, называя Рылеева слабоумным, и очень сожалел, что А. А. Бестужев заразился его «нелепыми идеями». Вообще, по представлению Греча, душою Общества был именно Рылеев. И само Об-во было ничто иное, как «шайка Рылеева», «омут Рылеева». Сам Рылеев признал себя главным виновником восстания 14-го декабря. Какая же политиче-

ская программа была у этого российского Шиллера? Прежде всего бросается в глаза демократизм Рылеева и его своеобразное «народничество». Он как и прочие вожаки движения, мечтал о Народном Соборе, но, возлагая на него решение вопроса о форме правления, он полагал необходимым осуществить предварительные реформы—освобождение крестьян—непременно с землею, местное самоуправление, гласный суд, свободу печати и прочее. В конституционном проекте Никиты Муравьева он критикует идею имущественного или денежного ценза, находя этот принцип «безнравственным». В то же время он патриот. Он ревниво оспаривает территориальные притязания поляков. Что касается вопроса о республике, он, повидимому, до конца дней не мог его решить, хотя и питал чрезвычайное уважение к государственному строю Соединенных Штатов Америки.

Но обо всем этом было занятно и легко рассуждать у себя на Мойке, в уютной квартире, где милая Наталья Михайловна ворковала, держа на коленях смугленькую Настеньку. Но когда все эти вопросы стали неожиданно злобою дня, как все это стало страшно, ответственно и сложно...

Тысяча восемьсот двадцать пятый год протекал довольно мирно. Рылеев занимался «Полярною Звездою», писал письма Пушкину и вслух мечтал о конституции, не подозревая, повидимому, что не заторами то время, когда от разговоров придется перейти к делу. Общество как будто дремало. Многие члены разъехались—Пущин в Москву, Н. И. Тургенев за границу, Трубецкой в Киев. Зато появился Каховский и Якубович. Благодушный розовый либерализм иногда, впрочем, перекрашивался в революционный пурпур. Разговоры о конституции приводили порою к трудному разговору о царе. Прежде казалось все очень простым и ясным. Надо только об'ясниться с властью, распутать маленькие недоразумения, напомнить им-

ператору, как он обещал Лагарпу даровать отечеству свободу и, будучи еще мальчиком, дразнил старых придворных, вытаскивая из карма трехцветные революционные кокарды. Теперь эти кокарды попали в руки молодым гвардейским офицерам и они захотели ими поиграть в свою очередь. А императору было не до игры. Было несколько доносов и два крупных. Тайные Общества были известны царю. Но царь как будто чего-то ждал и бездействовал. Иногда воспоминания о том, что он сам как-никак масон и давал соответствующие клятвы, беспокоили Александра. А тут еще страшный и требовательный монах Фотий и «без лести преданный», но не менее страшный Аракчеев и призрак Священного Союза.... Противоречия были слишком мучительны и хотелось бежать, куда глаза глядят. Так устроилась, между прочим, поездка в Таганрог. И вдруг смерть.

Рылеева эта смерть застала врасплох. Члены Северного Общества не знали, что делать,—по крайней мере накануне присяги Константину на собрании у Рылеева никто еще не помышлял о восстании. Но, очевидно, сама судьба толкала заговорщиков на решительные действия. Отречение Константина и новая присяга Николаю—смятение междуцарствия—это все казалось таким счастливым поводом для мятежа, что уныние заговорщиков сменилось лихорадочным воодушевлением. На собраниях появлялся и приехавший из Киева Трубецкой.

«Шумно и бурливо,— рассказывает М. А. Бестужев,— было совещание накануне 14-го декабря в квартире Рылеева. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно высоко настроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие поплатились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем»...

«За то как прекрасен был в этот вечер Рылеев. Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он нападал на свою любимую тему—на любовь к родине—физиономия его оживлялась, черные, как смоль, глаза, озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда бывало не устанешь любоваться им. Так и в этот роковой вечер, решивший туманный вопрос»...

«,— его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями»...

Все, не веря в успех, старались уверить друг друга, что победа обеспечена мятежникам. Рылеев подошел к одному из заговорщиков, барону Розену, и спросил его в упор, можно ли положиться на вверенную ему часть. Получив отрицательный ответ, Рылеев сказал: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды»... Н. А. Бестужев свидетельствует, что Рылеев сказал ему: «Лучше быть взятым на площади, чем на постели. Пусть лучше узнают, что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества и никто не будет знать, где мы и за что пропали»... «Судьба наша решена, к сомнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется»...

Повидимому, большинство заговорщиков настроено было также, как Рылеев. По крайней мере Оболенский пишет в своих воспоминаниях: «Не стану говорить о возможности успеха; едвали кто из нас был в этом убежден. Каждый надеялся на случай, благоприятный, на неожиданную помощь, на то, что называется счастливою звездою; но, при всей невероятности успеха, каждый чувствовал, что обязан Обществу исполнить данное слово,— обязан ис-

полнить свое назначение, и с этими чувствами, с этими убеждениями в неотразимой необходимости действовать, каждый стал в ряды»...

У Рылеева болело горло, была, как сказал доктор, жаба. Голова горела. Трудно было глотать и говорить. А утром 14-го ему казалось, что и дышать трудно: не хватало воздуху.

На рассвете 14-го Николай Бестужев зашел к Рылееву, чтобы вместе итти на площадь. Но гостя встретила Наталья Михайловна в слезах, умоляя:

— Оставьте мне моего мужа. Я знаю, что он идет на гибель. Бестужев тщетно старался ее уверить, что нет никакой опасности. Рылеев также начал успокаивать жену.

«Она,— рассказывает Бестужев,— не слушала нас; но в это время дикий горестный и испытующий взгляд больших ее черных глаз попеременно устремлялся на обоих. Я не мог выносить этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом крикнула: —Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних об'ятий и убежал».

Тот же Бестужев уверяет, что Рылеев сказал ему, когда они встретились на площади:

— Последние минуты наши близки, но эти минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Эти последние минуты были как сон, и все казалось призрачным и странным: и Медный Всадник, и карэ солдат Московского полка, и колонна гвардейского экипажа, и долговязая фигура Вильгельма Кюхельбекера, и бреттерское лицо Якубовича с его черной повязкой на лбу, и кавалерийская атака, и пороховой дым, и кровь....

Князь Сергей Трубецкой, накануне выбранный диктатором, не явился на площадь вовсе. А Рылеев то появлялся с солдатской сумою через плечо, то вновь куда-то исчезал, не распоряжаясь, не руководя мятежниками. По словам барона Розена, «Рылеев, как угорелый, бросался во все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался на площадь с пустыми руками»...

Когда томительный день кончился артиллерийскими залпами и царь Николай торжествовал свою победу, к вечеру, Рылеев, не пытаясь скрыться, вернулся к себе домой. В своих показаниях он признается, что худо помнит все, что в этот вечер у него говорили собравшиеся члены Общества, «так как находился в сильном волнении духа».

Когда друзья разошлись, почью, приехал обер-полицеймейстер с повелением об аресте. Рылеев отвезли прямо во дворец. Там на долю Рылеева выпал поединок более трудный, чем дуэль с молоденьким князем Шаховским. Оказалось, что новый император не плохой следователь и довольно тонкий психолог. По крайней мере его диалог с членом Верховной Думы Северного Общества окончился полным поражением этого «вождя» революции. Пламенный Рылеев, волновавший друзей страстными зовами к свободе, вдруг как будто убедился в преступности своей проповеди. Тщетно мы старались бы подыскать оправдания его показаниям. Его душевных сил хватило на то, чтобы рискнуть головою. (Он, ведь, рисковал, впрочем, своею головою и ранее по самым ничтожным поводам). Но теперь он убедился, что есть нечто более трудное, чем азартная игра с жизнью и смертью. Самое трудное—сохранить свое подлинное живое лицо. Своего лица он не сохранил: ушел в могилу загадочным; может быть, и самому себе не признался в том, что же он, наконец, в са-

мом деле—«верноподданный» царя, раскаявшийся в своих заблуждениях, или последовательный враг самодержца?

Обвинять Рылеева в том, что он запутал многих товарищей, что он совершенно недвусмысленно предал Пестеля, едва ли будет справедливо. Надо, конечно, учесть историческую обстановку, наивную психологию первых ревнителей свободы, этих неопытных заговорщиков, но бесспорный факт покаяния остается тем, чего никак не опровергнешь.

24 апреля 1826 года Рылеев заявил членам Верховного Комитета: «Признаюсь чистосердечно, что я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествия 14-го декабря, ибо я мог остановить оное,—и не только того не подумал сделать, а, напротив, еще преступною ревностью своею служил для других, особенно для своей отрасли, самым гибельным примером. Словом, если нужна казнь для блага России, то я один ее заслуживаю, и давно молю Создателя, чтобы все кончилось на мне, и все другие, чтобы возвращены были их семействам, отечеству и доброму государю его великодушием и милосердием».

Император Николай после первого же допроса почувствовал, что этот сантиментальный герой, с прекрасными романтическими глазами, всецело будет в его руках.

«Присылаемого Рылеева,— писал Николай,— посадить в Алексеевский равелин, но не связывать рук; дать ему бумагу для письма и, что будет писать ко мне собственноручно, приносить ко мне ежедневно».

Тут началась игра в кошку-мышку. Повидимому, царь, обольщая Рылеева, намекал ему на полное прощение в случае его откровенности. Недаром Рылеев передал товарищам по заключению записку: «Красные кафтаны (т.-е. сенаторы) горячатся и при-

судили нам смертную казнь, но за нас бог, государь и благомыслящие люди»...

И как было не поверить ему, Рылееву, в отеческие чувства императора. Жена писала ему в Алексеевский равелин, что государь послал ей в подарок 2000 рублей, узнав об ее затруднительном материальном положении, факт в самом деле любопытный, особенно, если вспомнить, что подарки продолжались и позднее вплоть до того дня, когда вдова Рылеева вышла замуж за какого-то отставного поручика. Можно подумать, что император и на том свете хотел уверить Рылеева, что он его повесил от избытка нежных чувств и великодушия.

Рылеев не мог себе представить, чтобы человек и монарх, который беседовал с ним с таким дружелюбием и проявлял такую отеческую заботливость об его семье, мог в то же время готовить ему виселицу. Наталья Михайловна, повидимому, также была убеждена, что в худшем случае ее мужу придется пойти в Сибирь, в ссылку, и готовилась разделить с ним его участь. «Где бы судьба ни привела тебе быть, я всюду следую за тобой. Нет, одна смерть может разорвать священную связь супружества»... 24 мая 1826 года, отвечая на это письмо, Рылеев писал: «Я пишу тебе то, что мне внушают чувства, и ты никогда не думай, чтобы я согласился и допустил тебя разделить со мною участь мою. Ты не должна забывать, что ты мать. Впрочем, мой друг, надейся на благость Божию и милосердие государя. Как ни велико преступление мое, но по сию пору обращаются со мною не как с преступником, а как с несчастным, и потому не предавайся отчаянию». Не очевидно ли, что Рылев поверил царю? Верит ему и Наталья Михайловна. По крайней мере 25 июня она пишет опять о твердом решении разделить участь мужа, т.-е. ехать с ним в ссылку. «Неужели ты отчаиваешься в милосердии государя, что он

этого не позволит? Нет, он сам супруг и отец, и правосудец»...

И вот 13 июля все выяснилось. В этот же день Рылеев написал жене свое знаменитое послание: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть смертию позорною. Да будет его святая воля. Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на государя. Это будет и безрассудно, и грешно»... «О, милый друг, как спасительно быть христианином. Благодарю моего создателя, что он меня просветил и что я умираю во Христе»...

Последние стихи Рылеева, которые он начертал на кленовых листьях незадолго до казни и прислал с тюремщиком Оболенскому, посвящены все той же теме. Он надеется, что скоро, «как Моисей на горе Навав, узидит край обетованный»...

13 июля на рассвете Рылеева вывели на кронверк Петропавловской крепости. Он, как и все обреченные, целовал крест, крестился и взошел на эшафот спокойно, но с трудом волоча ноги, закованные в кандалы. Рылеев и еще двое сорвались и тяжело рухнули на помост. Один из свидетелей уверяет, что будто-бы Рылеев сказал, когда его вторично вели на эшафот: «Итак скажут, что мне ничто не удавалось, даже умереть»...

Сергей Иванович Муравьев-Апостол.

Сергей Муравьев-Апостол.

I.

В светлую июльскую ночь, накануне казни, Сергей Иванович Муравьев-Апостол был совершенно спокоен и тверд. Его сосед сказал ему: «Пропойте мне песню: я слышал, что вы превосходно поете». Муравьев ему спел. Тогда тот спросил, каков его приговор, и, узнав, что Муравьеву предстоит казнь, смутился и пробормотал: «Извините, что я вас побеспокоил»... Муравьев улыбнулся: «Сделайте одолжение. Очень рад, что мог доставить вам удовольствие»...

То, что Сергей Муравьев превосходно пел, черта весьма важная. Вся жизнь его похожа на песню. Он был Орфеем среди декабристов: очаровывал всех своим голосом, и если император и судьи вынесли ему все-таки смертный приговор, то, потому, что он, Муравьев, сам того хотел. А кажется, пожелай он, и палач не решился бы накинуть ему на шею петлю. В Сергея Муравьева все были влюблены. Он был добр и кроток.

Даже Н. И. Греч отметил в своих записках эти свойства его характера. «Нравом,— пишет Греч,— он казался очень кроток, и в нем никак нельзя было подозревать того исступленного революционера, того безумного предводителя шайки мятежников (и еще обманутых), каким он явился впоследствии».

А между тем, обвинение, пред'явленное ему, в самом деле как будто-бы обличает в нем «исступлен-

ного революционера»; каждый пункт обвинения действительно соответствует его поступкам и мнениям. В официальном акте сказано: «Имел умысел на цареубийство, изыскивал средства, избирал и назначал к тому других; соглашаясь на изгнание императорской фамилии, требовал в особенности убиения цесаревича и возбуждал к тому других; имел умысел и на лишение свободы государя-императора; участвовал в управлении Южным Тайным Обществом во всем пространстве возмутительных его замыслов; составлял прокламации и возбуждал других к достижению цели сего общества, к бунту; участвовал в умысле отторжения областей от империи; принимал деятельнейшие меры к распространению общества привлечением других; лично действовал в мятеже с готовностью пролития крови; возбуждал солдат, освобождал колодников, подкупал даже священника к чтению перед рядами бунтующих лжекатехизиса, им составленого, и взят с оружием в руках».

Как случилось, что этот кроткий и мягкий человек, любимый солдатами, внушивший к себе самую нежную симпатию всем товарищам, обожаемый друзьями—и сам, кажется, ни к кому не питавший злобы, мечтатель, сочинявший латинские и французские стихи,—как мог он броситься в огонь мятежа? Чтобы понять это, надо припомнить его жизнь. Сергей Иванович Муравьев-Апостол родился в Петербурге, в октябре 1796 года. Его отец, Иван Матвеевич, был человек примечательный. Екатерина Вторая сбратила внимание на его комедию «Ошибки или утро вечера мудренее». Он был просвещеннейший человек своей эпохи, филолог и лингвист. В 1823 году он напечатал книгу о Тавриде, не утратившую своего значения до наших дней. При Павле он был посланником в Гамбурге. Потом он занимал пост посланника в Мадриде. Иван Матвеевич пере-

жил своего сына на двадцать пять лет: он умер в 1851 году. в Петербурге, сенатором.

Итак, детство и отрочество Сергей Иванович провел вдали от родины—сначала в Гамбурге, потом в Мадриде откуда, впрочем, его с братом вскоре отвезли в Париж, в пансион, где он пробыл до 1808 года. В 1805 году отец Муравьева был уже отозван из Мадрида Александром и, почувствовав охлаждение к себе императора, удалился от дел в свое Полтавское поместье. В это время обострились отношения между Россией и Францией, но Наполеон на просьбу жены Муравьева (урожд. Чернюевич), разрешить сыновьям ее остаться в Париже до окончания их среднего образования, ответил, что «покуда во Франции будет уважаться добродетель, т-же Муравьевой гарантирована безопасность».

Повидимому, заграничная жизнь не уничтожила в мальчиках Муравьевых партиотических пристрастий. При возвращении в Россию, переехав Прусскую границу, они выскочили из кареты и бросились обнимать казака, стоявшего на часах. Тогда мать сказала им с грустью: «Я очень рада, что долгое пребывание за границей не охладило вашего чувства к родине, но готовьтесь, дети, я вам должна сообщить ужасную весть; вы найдете то, чего не знаете: в России вы найдете рабов».

Повидимому патриотизм маленьких Муравьевых был в значительной мере чем-то весьма отвлеченным. Если им до 12—15 лет не было еще известно, что в России крепостные мужики, каково же вообще было их представление о родине. Их ребячьи головы были полны идеями свободы и равенства, патриотизма и добродетели, той же самой французской добродетели, о которой счел нужным упомянуть Бонапарт, давая разрешение на пребывание семьи Муравьевых в Париже...

В 1809 году братья Муравьевы поступили в петербургский Институт Путей Сообщения. В 1811 году Сергей Иванович был выпущен с чином прапорщика. Надо сказать, что за эти два—три года жизни в России Муравьевы едва ли успели узнать родину, к которой они питали такое сантиментальное влечение. Дело в том, что Институт Путей Сообщения, помещавшийся тогда на Фонтанке, у Обухова моста, в доме Юсупова, был весь пропикнут французским духом. Этим Институтом управлял генерал Бетанкур, француз-инженер, бывший на испанской службе, когда Иван Матвеевич Муравьев был послом в Мадриде. Директором Института был француз Сенновер и почти все профессора были французы. Очевидно, не судьба была Сергею Муравьеву удалиться от французской добродетели. Любовь к этой самой «добродетели» — ее, ведь, почитал не только Бонапарт, но и Робеспьер!—привела молодого Муравьева на эшафот. С Бонапартом, однако, Сергей Иванович дрался нехудо. В 1812 году мы видим его офицером генерального штаба. В кампании 1813 года он уже получает золотую шпагу за храбрость. В 1814 году он участвует почти во всех важных боях. Теперь он бессменный ординарец у знаменитого храбреца Н. И. Раевского. Наконец, в 1816 году его переводят в л.-гв. Семеновский полк, с которым его брат проделал все кампании с 1812 по 1814 год.

Итак, в двадцать пять лет Сергей Иванович Муравьев-Апостол жил исключительно жизнью запада, дышал его культурою, говорил и думал по-французски. Само собою разумеется, что он был масоном. Он был принят в ложу Трех Добродетелей 2 января 1817 года в качестве ученика. Весною того же года он получил звание товарища; летом он уже числился мастером. 14-го июня он был избран в обрядоначальника ложи. 22-го декабря 1818 года он, как и многие другие масоны, вступившие в Тайные По-

литические Общества, закрыл работы, вероятно, для того, чтобы в случае политической катастрофы не подвести весь Союз Великой Провинциальной Ложи.

Впрочем, не для всех было ясно, что Тайное Общество в самом деле может привести к событиям катастрофическим. Последние годы царствования Александра казались всем реакционными. Все негодовали на странное и загадочное поведение императора. Он столько наговорил либеральных фраз, он держал себя в Европе и Польше таким вольнодумцем и так громко заявлял о конституционных правах народов, что перемена его настроений и поощряемая им угрюмая политика Аракчеева должны были неминуемо вызвать ропот недавних его поклонников, поверивших в свободомыслие царя. Но Александр Павлович Романов все еще казался тогдашним либералам «своим человеком». Думали, что его политика—едва ли не какое-то недоразумение. Та самая французская «добродетель», которая была открыта Жан-Жаком Руссо, должна была будто-бы примирить филантропа-царя и филантропов-граждан. Бонапарт заставил забыть Робеспьеровские методы для проведения «добродетели» в жизни. Либеральная молодежь худо представляла себе те противоречия, которые скоро должны были раскрыться и всех ужаснуть. Юные ревнители гражданской добродетели, как ночные бабочки, летели сами на огонь.

Первое Тайное Общество возникло в квартире Сергея Ивановича Муравьева-Апостола. Он жил тогда с братом Матвеем Ивановичем в казармах Семеновского полка. Однажды в 1816 году у Муравьевых были в гостях Сергей Трубецкой и И. Д. Якушкин. Потом приехали Александр и Никита Муравьевы. Побранив немцев, которым покровительствовал император, стали рассуждать о дурных влияниях на монарха. Кто-то предложил основать обще-

ство для борьбы с засильем иностранцев. Якушкин и Сергей Муравьев возражали, что дело не в иностранцах, а в том, что царь вообще управляет самовластно, и так нельзя, ибо «самовластие противно добродетели». В этом все были согласны... «Было положено,— пишет Якушкин,— составить устав для Общества и вначале принимать в него членов не иначе, как с согласия всех шестерых нас». Тогда, в 1816 году, этим юным масонам и филантропам еще не приходило в голову, чем кончится вся эта затея. «В обширном смысле благо России»—сия цель казалась такою невинною и для всех желанною, что трудно было тогда представить себе расстрел картечью мятежников на Сенатской площади или побоище в Трилесье под Житомиром, или кронверк Петропавловской крепости с виселицей на нем.

Вскоре в Общество вошел Пестель. Он и Александр Муравьев, ревнители масонства, настаивали на применении масонских обрядов и правил. Это не всем понравилось. В январе 1817 года общество получило название «Союза Спасения или Истинных и верных сынов отечества».

В него принимали членов с торжественною клятвою. Для отступников предназначался—кинжал и яд. Союз этот не был прочен. Участники Общества по разному представляли себе его цели. Когда Пестель, например, при своем вступлении в Общество произнес речь «О блаженстве Франции под управленеим Комитета Общественной Безопасности», этакое начало многих смутило. Некоторые усомнились в тогдашнем блаженстве Франции.

«Союз Спасения» просуществовав несколько месяцев, распался, но вместо него возник другой— «Союз Благоденствия». Тогда же начались разговоры о цареубийстве. В известном донесении Верховной Следственной Комиссии, написанном Д. Н. Блудовым, этим разговорам отведено не последне ме-

сто. Они были положены в основу обвинения. Правда, иные декабристы впоследствии старались доказать, что все эти разговоры о цареубийстве были случайны, и общество в целом не брало на себя ответственности за них, однако, поразительна та настойчивость, с какою эта идея возникала в среде заговорщиков. То Михаил Лунин предлагает организовать отряд всадников в масках и убить государя на Царско-сельской дороге; то после ложного сообщения князя Сергея Трубецкого о намерении императора Александра отторгнуть от России и передать Польше западные губернии, И. Д. Якушкин неистово предлагает себя в цареубийцы; то князь Федор Шаховской решительно настаивает на том, что надо царя убить, когда Семеновский полк будет занимать караул во дворце... Кроткий Сергей Муравьев не желал тогда цареубийства. Кровожадного Шаховского он шутя называл тигром. Впрочем, этот «тигр» вскоре женился и страшные замыслы были преданы забвению.

Однако, как ни кроток был Сергей Муравьев, но жестокие тогдашние нравы должны были повлиять на него и принудить к более суровым и решительным действиям. Наступил 1820-й год и разыгралась Семеновская история. Сергей Муравьев был ее свидетелем. Приемы и нравы тогдашних командиров всем известны. Героев 1812 года били немилосердно и палками, и тесаками, и еще чем-то. Муштровка была бессмысленная и жестокая. Маршировать надо было так, чтобы султан не пошевелился. Тонкости фронта различали с хронометром в руках. Требовали от солдата, чтобы он, маршируя, мог на кивере пронести стакан с водою, не пролив ни капли.

В Семеновском полку, по соглашению командира Я. А. Потемкина с прочими офицерами, было отменено телесное наказание. Дисциплина от этого нисколько не упала, но эта реформа раздражала ска-

лозубов. Еще в 1818 году у Сергея Муравьева произошло на этой почве столкновение с одним из таких офицеров, не принявших новшества. Это был некто Гурко. Брат Сергея Ивановича, Матвей Муравьев, рассказывает об этом случае так: «Когда полк пришел в манеж, людям, как водится, дали поправиться, затем учение началось, как всегда ружейными приемами. Гурко заметил, что один солдат не скоро отвел руку от ружья, делая на караул, и приказал ему выйти пред баталионом, обнажить тесаки, спустить с провинившегося ремни от сумки и тесака. Брат мой, повысив шпагу, подошел к Гурко, сказал, что солдат, выведенный из фронта, числится в его роте, поведения беспримерного и никогда не был наказан...— Гурко так потерялся, что стал об'ясняться с братом перед фронтом по-французски. И солдат не был наказан. Когда учение кончилось, солдатам дали отдохнуть, а офицеры собрались в кружок перед батальоном, тогда я взял и поцеловал руку брата, смутив его такой неожиданной с моей стороны выходкой»...

Не всегда любители истязаний отказывались так легко от своих привычек. Тот же Матвей Муравьев рассказывал о В. В. Левашове, начальнике гвардейского гусарского полка, любимце царя Александра и великих князей Николая и Михаила. Однажды за какое-то упущение по службе он приказал, садясь за обед, наказывать палками заслуженного вахмистра. Во время этой благочестивой трапезы он покрикивал время-от-времени «не слышу», — тогда палки трещали сильнее, пока не пришлось увезти старого гвардейца в больницу, где он и скончался. Это было «бытовое явление», как выражаются публицисты.

Нередко солдаты, не одолев позора и боли, убивали себя. Однажды Матвей Муравьев шел за чем-то в Академию Художеств и вдруг видит на Исаакиев-

ском мосту, как солдат гренадерского полка перелез через перила лосовой части плашкоута, снял с себя кивер, амуницию, перекрестился и бросился в Неву. «Когда он все это снимал,— рассказывает Муравьев,— я не понимал, что он делает. Мне не приходило в голову, что он собирается лишить себя жизни».

Часто, впрочем, случалось, что солдаты убивали не самих себя, а первого встречного, предпочитая каторгу солдатской жизни.

Гуманность А. Я. Потемкина, братьев Муравьевых и прочих вольнодумцев не нравилась великому князю Михаилу Павловичу, совсем еще юному,—не нравилась Аракчееву и еще кое-кому. В конце-концов добились отставки Потемкина и назначения командиром Семеновского полка некоего Шварца, известного своею жестокостью. Начались истязания солдат. Иногда Шварц, повернув шеренгу лицом к другой, заставлял солдат плевать друг другу в лицо; иногда вызывал к себе на квартиру по десяти человек из роты и для развлечения обучал их у себя в зале, разнообразя истязания; иногда он заставлял солдат часами стоять неподвижно с ногами, связанными в лубки; иногда колол обучаемых вилками...

Кончилось это дело, как известно, тем, что Семеновский полк отказался служить под начальством Шварца. Случай этот был небывалый в истории гвардии. Сначала заявила протест первая рота. Начальство переполошилось. Дали знать Михаилу Павловичу. Великий князь держал роту два часа на ногах, требуя выдачи бунтовщиков. Рота стояла, как вкопанная, и Михаил Павлович уехал домой, взбешенный неудачей. На другой день роту отвели в Петропавловскую крепость. Тогда возмутился весь полк. Искали Шварца, чтобы убить его. Но Шварц спрятался в навозную кучу. Тогда привели другие

воинские части и отправили в крепость весь полк. В это время Александр был на конгрессе в Лайбахе. И первый, кто сообщил царю о бунте семеновцев, был Меттерних, которому только-что царь хвастался, уверяя, что одной его гвардии достаточно для усмирения европейской революции. Легко понять страх и гнев Александра. Он повелел раскассировать всех нижних чинов в полки, а первый батальон и Шварца предать военному суду.

Сергей Муравьев командовал третьей ротой. По свидетельству брата, он не только не поддерживал бунта, но всячески старался успокоить солдат. Известно также, что, когда семеновцев по-ротно выводили из Петербурга в Царское Село, именно ему, Сергею Муравьеву, было поручено передавать солдат армейским офицерам. При своем последнем свидании с Муравьевым, Шварц, указывая на образ, сказал: «Бог свидетель, что я не виноват. Мне сказали, что полк этот состоит из бунтовщиков. Я, дурак, и поверил. Теперь сознаю, что я сам не стою последнего солдата полка, который я погубил»...

Сергей Иванович Муравьев был, как и прочие офицеры, переведен в армию. Он попал в качестве батальонного командира в Черниговский полк. Предположение некоторых историков, что Сергей Муравьев был автором прокламации, появившейся в Семеновском полку накануне бунта, пока ничем не подтверждается, но зато совершенно ясно, что на Юге Сергей Муравьев стал самым деятельным членом Тайного Общества. Рассудительный, холодный и осторожный Пестель тщетно старался бороться с нетерпеливою страстностью Сергея Муравьева. Из трех Управ Южного Общества самою революционною оказалась Васильковская, во главе которой стоял Сергей Муравьев и, после с'езда 1823 года, поручик Полтавского пехотного полка Бестужев-Рюмин, тоже бывший семеновец. Тульчинская управа возглавля-

лась Пестелем и Юшневским, Каменская—Давыдовым и кн. Волконским. Если в Каменке по-барски вольнодумствовали, если в Тульчине все волею или неволею слушали властные и догматические речи Пестеля, в Василькове неудержимо стремились к восстанию во что бы то ни стало. Поручик Бестужев-Рюмин вдруг так уверовал в Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, что старшему другу ничего другого не оставалось, как на деле доказать свою готовность пожертвовать собою. Повидимому, в Васильковской управе не очень рассчитывали на реальный успех восстаний. Умный Пестель все взвешивал, рассчитывал, обдумывал, а здесь, в Василькове, на многое решались, не успев как следует обдумать свое решение. Бестужев-Рюмин многим казался неумным и легкомысленным юношей. Якушкин, например, в своих записках называет его попросту «взбалмошным и совершенно бестолковым мальчиком». Впрочем, он прибавляет к этой характеристике: «Нельзя было сказать, что он был решительно глуп, но в нем беспрестанно появлялось что-то похожее на недоумка».

Матвей Муравьев, узнав от Лорера о странной дружбе Сергея Ивановича с юным и нетерпеливым карбонарием, ревниво предостерегает брата от неосторожного увлечения молодым человеком. Эта сантиментальная и немного истерическая взаимная привязанность двух офицеров, похожая на роман, раздражала многих. Оказывается, Муравьев серьезно обиделся на М. Ф. Орлова, который отзывался о Бестужеве с недвусмысленным презрением. «Бестужев с самого начала так много наделал вздору и непристойностей, что его к себе никто не принимает»,— писал М. Ф. Орлов. Басаргин тоже был не слишком лестного мнения о пылком юноше. «Сердце у него было превосходное, но голова не совсем в порядке».

И вот этот самый бестолковый, взбалмошный, ни-

чего не успевший обдумать молодой человек сыграл немалую роль в истории Южного Общества. Среди заговорщиков всегда бывает такой взбалмошный энтузиаст, которого и презирают, и боятся: презирают, сознавая свое умственное превосходство,—и боятся, потому что такие неудержимые энтузиасты побеждают своей прямолинейностью и страстью. Нередко принимались те, или другие решения под влиянием нескладных, неразумных, но пылких речей юноши, уверенного в своей нравственной правоте.

Вообще в Василькове преобладали нравственные побуждения. Иногда, впрочем, заражая друг друга волнением, заговорщики, в предчувствии мятежа пьянели от собственных надежд и слов и тогда нравственные мотивы отходили на второй план, и молодые люди всецело были во власти революционного хмеля.

На совещании 1823 года Пестель предложил С. И. Муравьеву-Апостолу принять участие в работе над «Русскою Правдою». Муравьев должен был написать отдел, посвященный финансам и экономике. Он согласился, но задания, кажется, не исполнил. Вообще он, хотя и спорил с Пестелем, мало интересовался конституционной программой, полагая, что все устроится само собою, когда будет уничтожен деспотизм самодержца. Один только пункт волновал его чрезвычайно. Это вопрос о цареубийстве. Надо было захватить монарха и принудить пленника отречься от самодержавия. Но Пестель говорил, что императора надо убить. Это смущало Муравьева. Дело в том, что у него были свои религиозно-нравственные убеждения, и ему очень не хотелось проведения в жизнь высоких идеалов свободы начинать с убийства. Он чувствовал, что тут есть какое-то мучительное противоречие. Но ему казалось невозможным медлить с решительными действиями. Предполагался царский смотр войскам под

Бобруйском. У Сергея Муравьева созрел план ареста императора во время этого смотра. Он предполагал также арестовать вел. князя Николая и генерала Дибича и сообщил об этом Пестелю, Давыдову и кн. Волконскому.

Пестель и Давыдов даже не ответили на письмо Муравьева, а Волконский советовал оставить безрассудный план. С тем же проектом поехал в Москву Бестужев, но и там замысел этот не имел никакого успеха. Якушкин даже сказал Бестужеву, что он не верит, чтобы Сергей Муравьев мог выбрать посредником для переговоров такого юнца, как Бестужев.

Но смотр не состоялся, и план Муравьева все равно нельзя было осуществить. Члены Южного Общества понимали, что нужно во что бы то ни стало согласовать свои действия, несмотря на различие мнений. Васильковская управа навербовала так много членов, затеяла на свой страх и риск такие ответственные переговоры с другими тайными союзами, что волей неволей Пестелю приходилось считаться с пылкими ревнителями революции. А между тем вопрос о цареубийстве попрежнему разделял заговорщиков. Пестель теперь настаивал на том, чтобы «истребить» всю царскую фамилию. Это приводило в ужас Муравьева. Пестель жаловался Матвею Ивановичу Муравьеву на брата: «Votre frére est trop pur»...

Однако, Сергей Муравьев готов был подчиниться решению дирекции Южного Общества. По крайней мере в этом смысле он говорил Поджио на с'езде 1824 года. В этом же году он и Бестужев вели переговоры с Польским Тайным Обществом о согласовании действий на случай восстания. Но планы не удавались. Предполагалось, что летом 1824 года состоится высочайший смотр под Белою Церковью. Муравьев и к этому сроку готовил восстание. Но опять смотр не состоялся и опять Муравьевский про-

ект рухнул. Однако, деятельность Васильковской управы развивалась, а сам Сергей Муравьев так был предприимчив и независим, что Пестель боялся за прочность своей диктатуры на Юге. Тогда он решил искать сближения с Муравьевым, чтобы не терять его из виду. Пришлось включить беспокойного заговорщика в директорию. Пестель об'яснил свой план Юшневскому: «Смешно, что он (Муравьев) в числе председателей, когда его управа гораздо значительней и сильнее обоих других вместе, да и ради нашей ответственности перед Союзом, ибо Васильковская управа гораздо независимее прочих других действует, надо, чтобы Сергей Муравьев принадлежал к Директории». Таким образом с ноября 1825 года Сергей Муравьев считался уже одним из трех директоров Южного Общества.

II.

Во что верил Сергей Иванович Муравьев-Апостол? Что у него было в душе, когда он решился поднять знамя восстания? Он не был, как Бестужев, взволнованным мальчиком, который не успел еще обдумать как следует своих намерений и поступков. У Сергея Муравьева была своя идея, и, кажется, никто из декабристов так твердо не стоял на избраном пути, как Муравьев. Он продумал свою идею до конца, он ее возлюбил и возлелеял в сердце, как святыню. Идея была в том, что царское самодержавие и правда христианская суть начала несовместные.

Сергей Муравьев уверовал раз навсегда, что кесарь и Галилеянин—враги, что эти начала непримиримые: или деспотство самодержца—или свобода Христа. Воспитанный на рационалистической французской философии, он, несмотря на свое в ней разочарование, продолжал искать истину, пользуясь все теми же старыми рассудочными приемами. Он

считал себя христианином, но рассуждал как деист XVIII века. Ему хотелось, чтобы все было ясно и точно. Человечество, оказывается, погибнет от безрассудства. Надо понять христианскую идею и тогда наступит всеобщее счастие. Ему, Сергею Муравьеву, не приходило в голову, что Евангелие может иметь в виду какую-либо иную цель. Правда, он видел воочию, что восточная церковь мирно уживается с самовластием царя, но это представлялось ему каким-то недоразумением, легко устранимым. Попы что-то напутали. Сергей Муравьев раз'яснит, в чем дело, и все уладится. Православный катехизис составлен неправильно. Надо его исправить. Этот Муравьевский «катехизис» не был просто агитационной листовкою: это было исповедание веры самого Сергея Муравьева. В нем было обдумано каждое слово, и несколько страничек этого катехизиса заключают в себе самые ответственные догматические и нравственные положения. Для Сергея Муравьева, как-будто не существует двух тысячелетий христианской эры. Тысячи мучеников, исповедников, апологетов, подвижников, богословов, иерархов, христианских поэтов, философов, художников, зодчих—наконец, вся литургика и символика—все это для Муравьева одно досадное недоразумение. Не то чтобы он все это отрицал. Он даже в конце воззвания обещает восстановить храмы «во всем их блеске». Нет, он только с наивною гениальностью, не считаясь с реализмом истории, предлагает принять и оправдать революцию

история, предлагает принять и оправдать революцию

с православной точки зрения. Воистину это примечательнейший документ в истории русского революционного движения. Ход рассуждений в Муравьевском катехизисе, примерно, таков: бог создал человека для того, чтобы он, веруя в своего создателя, был свободен и счастлив. Веровать в бога—это значит следовать заветам, изложенным в евангелии. Но что такое свобода и счастие? Оказывается, что

счастье в свободе, а что такое свобода в Муравьевском катехизисе остается нераз'ясненным. Зато само требование свободы подкрепляется цитатою из апостола Павла: «Ценою крови куплены есте, не будете раби человеком». Но русский народ несчастен потому, что цари похитили у него свободу. Должны ли мы повиноваться царям, когда они поступают вопреки воле божией? Нет. Христос сказал: не можете богу работати и Мамоне. Что же святой закон наш повелевает делать русскому народу и воинству? Этот «святой закон» повелевает нам раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нещастия, поклясться :да будет всем един царь на небеси и на земли—Иисус Христос. Таким образом, у Муравьева был некий теократический идеал—некое «государство божие» на земле без папы. Путь к этому «государству божию» должен быть кратчайший, хотя бы и с оружием в руках. Какое же правление сходно с законом божиим? Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал Апостолов из простого Народа, а не из знатных царей. В Муравьевском катехизисе есть и указание на библейское представление о происхождении царской власти. Об этом можно узнать из восьмой главы книги Царств. Когда народ израильский пришел к Самуилу и просил его дать им царя, пророк обратился к богу за разрешением, но бог неохотно согласился на это желание народа. Бог предупреждал израильтян о мрачных сторонах царской власти: «Сыны ваши возьмет, и дщери ваша возьмет, и земли ваша одесятствует, и вы будете ему раби, и возопите в день он от лица царя вашего, его же избрасте себе, и не услышит вас господь в день он, яко вы сами избрасте себе царя»...

Воззвание к народу, также написанное Муравьевым, начиналась так: «Бог умилосердился над Россией, послал смерть тирану нашему»... и далее: «Все

бедствия русского народа проистекали от самовластного правления. Оно рушилось. Смертью тирана бог ознаменовывает волю свою, дабы мы сбросили с себя узы рабства, противные закону христианскому. Отныне Россия свободна»...

Но откуда явилась эта идея—изложить революционную программу, по крайней мере ее основные положения, в виде катехизиса? Мы знаем, что опыт Сергея Муравьева был не единственный. До нас дошел и другой, неоконченный, правда, катехизис, написанный Никитою Муравьевым. Но характер этого катехизиса иной. Автор озабочен не тем, чтобы изложить внятно и лаконично свое собственное заветное вероучение, а тем, чтобы как можно убедительнее воздействовать на ум простого неграмотного человека. И здесь, как у Сергея Муравьева, мы находим оправдание восстания текстами священного писания и новое толкование текстов, когда они противоречат целям заговора. На вопрос отчего же говорят: «несть бо власть, аще не от бога», — Никита Муравьев отвечает: «Злая власть не может быть от бога. Всякое древо доброе добры дела творит... всякое же древо, не приносящее плодов добрых, будет посечено и ввергнуто в огнь». Хищным волкам в одеждах овечьих, пророчествующим во имя господне, мы напомним слова Спасителя: «Николи же знах вас: отидите от мене делающие беззаконие».

Идея—использовать священное писание, как аргумент против «тиранства», вероятнее всего заимствована декабристами у испанских монахов, которые вели агитацию против Наполеона, черпая из Библии доводы против его власти. В 1812 году в «Сыне Отечества» был напечатан «Гражданский катехизис или краткое обозрение должностей испанца, с показанием в чем состоит свобода и кто враги его. Книжица весьма полезная и в настоящее время». В 1823 году отрывки испанского катехизиса были напечатаны

Ф. Булгариным в его «Воспоминаниях об Испании». Наконец, известно, что Бестужев читал французский роман Сальванди «Дон Алонзо или Испания», где цитируется знаменитый испанский катехизис с обличениями Наполеона.

Осенью 1825 года, когда состоялось об'единение Южного Общества с Обществом Соединенных Славян, между Сергеем Муравьевым и Горбачевским произошел однажды любопытнейший разговор о способах и приемах пропаганды, среди нижних чинов. Горбачевский настаивал на том, что от солдат нет надобности скрывать истинные цели общества. Пропаганду и агитацию надо вести с совершенной откровенностью. Горбачевский рассчитывал на здравый смысл солдат, а убеждать их надо было, открыв им глаза на их собственные интересы. Сергей Муравьев не сочувствовал таким пропагандистским и агитационным приемам. Ему казалось, что мужики вовсе не поймут преимущества республиканских учреждений. Надо—по его мнению—заручиться лишь согласием солдат на ниспровержение старого порядка, а конституция—это уже дело Временного Правительства. Главное, чтобы солдат поверил, что у монарха нет высшей санкции. Муравьев доказывал, что вся суть в религии. Он ссылался на Библию: «Некоторые главы,—сказал он,—содержат прямые запрещения от Бога избирать царей и повиноваться им. Если русский солдат узнает сие повеление божие, то не колеблясь ни мало, согласится поднять оружие против своего государя».

«Я с вами не согласен—отвечал Горбачевский,—вы знаете, что терпимость составляет отличительную черту русского народа; вам не нужно говорить, что ни священники, ни монахи не могут иметь влияния на русских и что они пользуются весьма невыгодным для них мнением между нашими соотечественниками. Скажите, можно-ли с русским говорить язы-

ном духовных особ, на которых он смотрит с весьма худой стороны? Я думаю, что между нашими солдатами можно больше найти вольнодумцев, нежели фанатиков, и легко может случиться, что здравый смысл заставит некоторых из них сказать, что запрещение израильтянам избирать царя было не божие повеление, а обман и козни священников-левитов, желавших поддержать теократию».

Тогда Сергей Муравьев вынул из ящика исписанный лист бумаги и, подавая его Горбачевскому, сказал: Поверьте мне, что религия всегда будет сильным двигателем человеческого сердца; она укажет путь к добродетели, поведет к великим подвигам русского, по вашим словам равнодушного к религии, и доставит ему мученический венец».

Горбачевский молча взял бумагу из рук Муравьева, пробежал ее глазами и увидел, что это перевод той самой главы из книги Царств, где описывается избрание израильтянами царя Саула.

«Это все очень хорошо,— сказал он, отдавая назад Муравьеву листок,— но я уверен, что никто из славян не согласится таким образом действовать; что же касается до меня, то я первый отвергаю сей способ и не прикоснусь до сего листа».

Тщетно Муравьев пытался убедить своего собеседника в необходимости для народа религиозного авторитета. Горбачевский утверждал, что русскому солдату совершенно не нужны ветхозаветные доказательства темных сторон царской власти: он это и сам знает. А религиозная аргументация такого рода весьма опасна, ибо можно также привести тексты о покорности властям и повиновении всякому начальству.

Муравьев замолчал, положил бумагу в ящик и постарался перевести беседу на общую тему.

Братья Борисовы, Горбачевский и прочие члены Общества Соединенных Славян убедились на прак-

тике, что среди солдат можно успешно вести пропаганду, не пользуясь авторитетом Библии. По возвращении из Лещинского лагеря на зимние квартиры, заговорщики, забыв о всякой осторожности, готовили солдат к восстанию. И примечательно, что среди солдат не нашлось ни одного предателя, ни одного доносчика...

И вот вдруг в начале декабря, пришло известие о кончине императора. Полковник Гебель собрал Черниговский полк для присяги. Служака, с головою, повидимому, не слишком светлою, решил воспользоваться удобным, по его мнению, случаем для исполнения приговора над двумя солдатами, отнявшими с пьяных глаз у какого-то мужика два рубля. Их приговорили к наказанию кнутом и ссылке на каторгу.

Когда провинившихся солдат вывели перед фронтом, в солдатских рядах начался глухой ропот, некоторые офицеры, нарушая порядок покинули свои места. Пытка, однако, началась. Тогда Сергей Муравьев упал, потеряв сознание. Все смешалось. Солдаты бросились к любимому офицеру, забыв дисциплину. Это было предвестием восстания.

За два дня до рождества пришло известие о событиях в Петербурге 14-го декабря. Сергей Муравьев узнал об этом от сенаторского курьера, развозившего присяжные листы. Братья Муравьевы Сергей и Матвей, встретили этого курьера под Житомиром, куда они ехали, чтобы хлопотать у корпусного командира Рота об отпуске Бестужева, у которого только-что скончалась мать. За обедом у генерала Рота все страстно обсуждали событие 14-го декабря. Никому еще не приходило в голову, что среди участников этого дружеского обеда сидит некто, обреченный на виселицу.

После обеда, простившись с гостеприимным генералом, Муравьев поехал обратно в Васильков, но

ехал туда неспешно, через Бердичев, по дороге навещая товарищей. «В Троянове,— пишет в своих воспоминаниях Матвей Муравьев,— заехали мы к Александру Захаровичу Муравьеву, а потом в Любаре к брату его Артамону Захаровичу. Потребовалась какая-то починка в коляске, мы бросили ее в Любаре и наняли жидовскую форшпанку. Ночью в Бердичеве переменили лошадей и поехали дальше».

Не доезжая до Василькова, они остановились в Трилесье, где стояла мушкетерская рота, числившаяся в батальоне Сергея Муравьева. Ее еще не было: она была вызвана в Васильков для второй присяги. В Трилесье братья Муравьевы остановились на квартире у командира пятой роты А. Д. Кузьмина.

А в Василькове в это время происходило следующее. Рано утром, 25 декабря, здесь были собраны все роты Черниговского полка для присяги Николаю 1-му. Обряд совершился при обстоятельствах не совсем обыкновенных. Роптали офицеры, ворчали солдаты. Раздавались насмешливые и нетерпеливые голоса: «А сколько еще будет этаких присяг!»—Полковник Гебель старался не замечать того, что происходит. Накануне присяги он плакал в присутствии двух ротных командиров, пришедших к нему с рапортом и жаловался на судьбу. Жестокий и грубый он вдруг потерялся и, закрывая лицо руками, бормотал в страхе: «Ох, я боюсь!».— У полковника Гебеля были в самом деле основания для страха. Однако, вечером, после присяги, по случаю полкового праздника Гебель созвал гостей на бал. «Собрание было довольно многочисленное,— рассказывает Горбачевский—хозяин всеми силами содействовал к увеселению гостей, а гости старались отблагодарить его радушие, веселились от чистого сердца и танцовали, как говорится в тех местах, до упаду. Музыка не умолкала ни на минуту; дамы и кавалеры кружи-

лись непрестанно в вихре танцев; даже пожилые люди принимали участие в забавах, опасаясь казаться невеселыми. Одним словом, веселиться и веселиться искренно было общим желанием, законом собрания. Время летело быстрее молнии. Вдруг растворилась дверь в залу, и вошли два жандармских офицера»... «Мгновенно удовольствия были прерваны, все собрание обратило на них взоры, веселье превратилось в неизъяснимую мрачность, все глядели друг на друга безмолвно: жандармы навели на всех трепет. Один из них подошел к Гебелю, спросил его, он ли командир Черниговского полка, и, получа от него удовлетворительный ответ, сказал ему: «Я к вам имею важные бумаги»; Гебель тотчас удалился с ним в кабинет. Тут начались вопросы, предположения, беспокойства; одни члены Славянского Общества сейчас поняли, что ударил час общей для них гибели...»

Через несколько минут Гебель вместе с жандармским офицером спешно вышел из дому, сел в сани и поскакал на квартиру Сергея Муравьева. Там в это время жил Бестужев. Разбуженный стуком, Бестужев вскочил с постели, не понимая, в чем дело. Гебель с жандармом вошли в кабинет Муравьева, произвели обыск, забрали бумаги и спешно выехали по Житомирской дороге.

В это время в Василькове офицеры-заговорщики старались собрать солдат, чтобы арестовать Гебеля и жандарма. Но солдаты, по случаю праздника, были распущены и эта попытка не удалась. Тогда предложили Бестужеву немедленно ехать к Сергею Муравьеву и, обогнав Гебеля, предупредить об опасности. Бестужеву в самом деле удалось обогнать полковника. На первой станции он уже был на четверть часа раньше его.

Бестужев гнался за Муравьевым, не отдыхая ни минуты, и нашел его в Любаре у Артамона Муравьева. Когда он, как буря, ворвался в комнату и сооб-

щил о том, что Гебель и жандарм мчатся по следам Сергея Муравьева, среди офицеров произошло смятение. Кажется, спокойнее других был сам Сергей Муравьев. Брат его, Матвей, совсем растерялся. Он требовал ужина и шампанского...

— Выпьем и застрелимся весело... Мы, ведь, главные заговорщики. Умрем и скроем следы прочих смертию...

Сергей Муравьев возражал:

— Не слишком ли рано, брат. Я решился на другое. Артамон Захарович может переменить вид дела...

Но Артамон Захарович обнаружил смешное и жалкое малодушие. Он не только отказался поднять, как было ранее условлено на случай восстания, свой Ахтырский полк и Александровских гусар, но отказался даже послать с нарочным записки, которые Сергей Муравьев написал, уведомляя товарищей о случившемся. Он даже не дал лошадей ни Муравьеву, ни Бестужеву. В припадке отчаяния он об'явил вдруг, что поедет к государю и ему все об'явит. Он, Артамон Захарович, уверен, что государь, узнав о добрых и патриотических намерениях Тайного Общества, не только никогда не станет карать, но воспользуется его программою, и добродетель восторжествует.

Тут же Артамон Захарович сжег на свечке записки, написанные Сергеем Муравьевым. Пришлось бросить перепуганного и растерявшегося товарища по заговору и тащиться проселочными дорогами до деревни Трилесье, куда они попали под вечер 29 декабря и остановились, как мы сказали, на квартире поручика Кузьмина. Бестужев-Рюмин поскакал по соседним полкам, чтобы известить о событиях... В это время Кузьмин был в Василькове. Ночью с 28-го на 29-е число он получил от Сергея Муравьева записку, посланную с рядовым. Узнав, в чем дело,

Кузьмин с Сухановым поскакали проселочной дорогой в Трилесье, туда же большаком поехали Соловьев и Щепила. Гебель, конечно, предупредил их. Вместе с жандармом он вошел в дом, где ночевали Муравьевы, примерно, в тот же час, когда Кузьмин получил роковую записку. Прежде всего Гебель бросился к пистолетам, которые лежали на столе около спящих Муравьевых. Потом он предложил им сдаться и выслушать высочайший приказ об аресте. Утром они вместе с Гебелем сели пить чай. Тогда в комнату вошел Кузьмин. Глупый Гебель тоном начальника начал ему выговаривать за то, что он, без разрешения покинув роту, вошел к арестованным. Но офицер не слушал своего полковника, с нетерпением ожидая запоздавших товарищей. Повидимому, Гебель все еще не понимал, чем все кончится, но смутно чего-то страшась, вышел из дому и поставил часовых по два у каждого окна и двери. Наконец приехали и другие черниговские офицеры. Страстный Щепила, выскакивая из саней, крикнул в волнении, что Гебеля надо убить. Каждого из офицеров, входивших в дом, чтобы увидеть Сергея Муравьева, Гебель встречал упреками за нарушение дисциплины. Кузьмин подошел к нему вплотную и, грозя пальцем, напомнил ему о заслугах Сергея Муравьева, которому и он, Гебель, многим обязан. Гебель опустил голову и вышел из комнаты. Офицеры успели перекинуться несколькими словами со своим батальонным командиром и дело было решено. Щепила, Соловьев, Суханов и Кузьмин вышли к солдатам, предлагая им освободить Муравьева. Солдаты, не колеблясь, согласились. Что произошло дальше, трудно восстановить с достаточной точностью. Показания и воспоминания очевидцев и участников события не всегда совпадают, но суть дела ясна. Жандарм, испуганный решительным поведением офицеров, молил о пощаде. Неосторожный Суханов посадил его в по-

греб, откуда этот жандармский поручик благополучно бежал и первый донес о восстании Черниговского полка. Зато Гебель вышел из этой истории не так благополучно. Он все как-будто не мог сообразить, что он уже не начальник, что пора говорить с мятежниками иным языком. Вероятно он понял, наконец, куда это все клонится, когда Щепила ударил его ружейным прикладом, а по другой версии ранил в живот штыком. Раненый Гебель бросился вон из дому, но в сенях ему загородил дорогу Соловьев, который, схватив полковника за волосы, опрокинул его на пол. Офицеры в ярости топтали ногами своего командира. Но он все-таки вырвался из рук и выбежал на двор. Там его, как некоторые передают, встретил ружейным прикладом сам Сергей Муравьев, который успел выскочить в окно, пока офицеры боролись с полковником в сенях.

Рота, квартировавшая в Трилесье, собралась вокруг освобожденного Муравьева с криками «ура»... Восстание началось.

«Участвовавший в походах 1812, 1813 и 1814 годов, Сергей Иванович достаточно был сведущ в военном деле, чтобы не питать никакой надежды на успех восстания при силе, заключающейся в горсти людей. Но обстоятельства так сложились, что восстание, не предвидимое, не приготовленное было уже совершившимся фактом...».

Так впоследствии писал в своих воспоминаниях Матвей Муравьев. Была слабая надежда, что 8-я пехотная дивизия, расположенная за Житомиром, присоединится к товарищам: там среди офицеров было немало членов Тайного Общества. Офицеры 8-й артиллерийской бригады даже сообщили Муравьеву, когда пришла весь о смерти императора, что «у них все готово и лошади подкованы на зимние шипы». И вот Сергей Муравьев повел солдат прежде всего на Васильков. Оставшеюся там частью Черниговцев ко-

мандовал майор Трухин, так как он был старшим после Муравьева. Когда весть о мятеже распространилась в городе, среди жителей началась паника. Приехавшие в город Соловьев и Щепила были арестованы. Когда к Василькову подошла рота Суханова,—авангард мятежников,—их встретила цепь стрелков, поставленная майором Трухиным... Но стрелки не стреляли, кричали «ура» и братались с товарищами. Муравьев занял город. Солдаты сорвали эполеты с майора Трухина и помяли его. Худшая участь ожидала семью и дом Гебеля, куда бросились солдаты, охмелевшие от неожиданной свободы. Если бы не мужество и не находчивость одного из офицеров, не миновать бы кровавой расправы. К Муравьеву пришли солдаты и просили у него разрешения «пограбить», но и это удалось отклонить.

Одним словом, среди необ'ятной пустыни тогдашней России, крошечный Васильков превратился неожиданно в республику, где торжествовал видимый правопорядок.

Муравьев пригласил к себе знатных граждан и, об'яснив цель восстания, обещал им неприкосновенность их жилищ. Вечером он издал приказ о походе. Командиры должны были собрать все роты на площади к девяти часам утра. Офицеры деятельно готовились к событиям, агитируя среди солдат. А Муравьев, как-будто забыв о походе, заперся у себя и работал над текстом своего катехизиса. В этих клочках бумаги для него был весь мир, весь смысл бытия. Ему казалось, что он сделал величайшее открытие. Оно просто, как все гениальное. Но до него, Муравьева, никто не понимал этой божественной истины. Правда, испанские мятежные монахи тоже писали «катехизисы», где об'являли Наполеона Антихристом, но у тех испанцев были задние мысли, интересы инквизиции и Ватикана. Нет, он, Муравьев, открыл совершенно бескорыстно секрет всеобщего

счастья и справедливости. Все меркнет перед ликом Христа. Его исповедует русский народ. Но Христос —свобода: значит, кесарь, император, самодержец— враг христианства. Когда люди это поймут, наступит царство свободы и счастья. И вот Муравьев сидит всю ночь напролет, сначала пишет, а потом диктует штабным писарям заветный текст.

На другой день перед войсками о. Даниил служил кратко молебен, не поминая царя, а потом, дрожа от страха, читал катехизис, сочиненный Муравьевым. Впоследствии перепуганный батюшка давал показания, что Муравьев послал за ним и приказал итти к построенным на площади ротам, где он, Муравьев, «под'ехав верхом к фронту, скомандовал, и нижние чины составили крут, а офицеры, выйдя на середину с заряженными пистолетами, и некоторые с кинжалами» окружили о. Даниила. «Тогда я, —продолжает свой рассказ батюшка,— по приказанию Муравьева, надев на себя ризы, с причтом пропел Царю Небесный, Отче наш, тропарь и кондак храмового полкового праздника, а более ничего по положению уставному не делал, а потом какой-то офицер, дав мне бумагу, которой я никогда прежде не видал, и никогда не слыхал, что именно было в ней написано, ибо тот или другой офицер, стоявший за мною, читал наизусть оную, а я, будучи в таком необыкновенном страхе, принужден был повторять ее, не помня, что в ней содержалось. Но, наконец, по приказанию Муравьева, пели многие лета за всех православных христиан, и произносил ли я уже при этом какие-либо другие слова — совершенно не помню». Дьячок показал на следствии: «Потом Муравьев сказал солдатам: ребята, будьте верны и служите одному царю небесному—Иисусу Христу; тот же, кто изменит, или от меня отстанет, будет анафема—проклят—скомандовал и пошел в поход...». На следствии допрашивали еще каких-то обывателей,

свидетелей этой странной истории, которая и не снилась никогда гражданам уездного города Василькова. Давали показания какой-то поручик инвалидной команды, канцелярист, титулярный советник, мещане и крестьяне. Все рассказывали одно и то же. Священник читал небывалый и неслыханный катехизис, а Муравьев-Апостол, сидя на лошади верхом, кричал, что царей нет, а только одна выдумка. «Ребята! только есть царь небесный Иисус Христос, кто ему изменит, тот будет проклят». И когда нижние чины на сие отвечали: «Рады стараться до последней капли крови»,— он заставлял их прокричать три раза «ура...»

Итак, Муравьев выступил в поход уверенный, что получил для своего предприятия благословение свыше. Первого января он устроил дневку в деревне Мотовиловке. Горбачевский в своих записках не без сантиментальности описывает эту наивную новогоднюю идиллию. «На дневке С. Муравьев осматривал все караулы, был во всех ротах, разговаривал с солдатами, ободрял их и более всего заботился о их нуждах. Об'езжая караулы, Муравьев был окружен народом, возвращающимся из церкви. Добрые крестьяне радостно приветствовали его с новым годом, желали ему счастья, повторяли беспрестанно: «Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш». С. Муравьев тронут был до слез благодарностью крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее их облегчение, что солдаты и офицеры готовы за них жертвовать собою и не требуют от них никакой награды, кроме их любви, которую постараются заслужить. Казалось, крестьяне, при всей их необразованности, понимали, какие выгоды могут иметь от успеха Муравьева; очень радушно принимали его солдат, заботились о них и снабжали их всем в избытке, видя в них не постояльцев, а защитников. Чувства сих грубых людей, искаженных

рабством, утешали Сергея Муравьева. Впоследствии он несколько раз говорил, что на новый год он имел счастливейшие минуты в жизни, которые одна смерть может изгладить из его памяти...».

Солдаты были настроены превосходно. Но утром на другой день, у всех были лица пасмурные. Ночью бежало 6 офицеров обратно в Васильков. Эта измена произвела на солдат удручающее впечатление. Муравьев собрал солдат и, не скрывая побега, об'явил, что он предоставляет каждому решить немедленно итти ли за ним, Муравьевым, или возвратиться в Васильков. Солдаты приободрились, и все остались в строю, снова увлеченные своим командиром. Но ночью из деревни Полог бежало еще несколько офицеров. Несмотря на это, солдаты повиновались Муравьеву.

Тщетно Муравьев посылал разведчиков, ища помощи в частях, расположенных по соседству. Помощи не было. Муравьев вел свои шесть рот, значит, около тысячи человек, на Трилесье. С ними было пять офицеров, не считая Бестужева-Рюмина, брата Матвея и другого, совсем юного, брата Ипполита, который приехал в Васильков в тот час, когда Муравьев вывел свой отряд из городка. Юноша не был членом Тайного Общества, но с восторгом присоединился к мятежникам.

А в это время весть о восстании разнеслась далеко за пределы Василькова и генералу Роту было поручено двинуть против Муравьева войска. Несколько частей пехоты, артиллерии и кавалерии направлено было на восставших Черниговцев. Гибель Муравьевского отряда была предрешена. Недалеко от местечка Белая Церковь произошла встреча повстанцев с отрядом Гейсмара, который вел гусаров, подкрепленных артиллерией. Муравьевский полк шел сомкнутой колонной, когда раздался пушечный

выстрел, и солдаты увидели гусар, прикрывающих орудия.

Матвей Муравьев в своих воспоминаниях описывает события так: «Мы все шли вперед. Открылась пальба картечью, у нас несколько человек пало, одни убитыми, другие ранеными, в числе первых начальник шестой мушкетерской роты, штабс-капитан Михаил Алексеевич Щепила. Тогда Сергей Иванович решил прекратить неравный бой и спасти свою команду от неминуемой погибели и приказал поставить ружья в козлы. Солдаты, повинуясь ему, не понимали, с каким намерением начальник остановил их на походе. Сергей Иванович им сказал, что виноват перед ними, что возбудив в них надежду на успех, он их обманул. Артиллеристам Сергей Иванович стал махать белым платком и тут же упал, пораженный картечью. Ипполит, полагая, что брат убит, застрелился из пистолета...».

Раненого Муравьева и его брата посадили в сани и повезли в Трилесье. Там, на ночь, поместили их в корчму. У Сергея Муравьева рана осталась без перевязки. В корчме лежал тоже раненый Кузьмин. Он подполз к Муравьеву, пожал ему руку, как было принято у Соединенных Славян, с условным знаком, —потом опять с трудом дотащился до соломы, где лежал, и здесь, вынув из спортучного рукава пистолет, застрелился. От этого выстрела у Сергея Муравьева сделался обморок.

Утром, четвертого января перевязав рану, повезли Муравьева в местечко Белую Церковь. Перед отъездом караул позволил братьям проститься с телом Ипполита Муравьева. Оно лежало в пустой хате среди прочих мертвых—все без одежды. Лицо юноши не было обезображено выстрелом. Только на левой щеке под глазом была небольшая опухоль. Выражение лица было гордое и спокойное. Братья стали на колени, около усопшего, молясь.

Потом Муравьевых и Бестужева повезли в Белую Церковь. Там их заковали в кандалы. В кандалах их отправили в Могилев на Днепре, где был допрос. В конце января мы видим Сергея Муравьева уже в Петербурге. Он сидит в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Старику отцу позволили увидеть сына. И он увидел его, раненого, в сюртуке, запачканном кровью.

Когда стал известен смертный приговор, Екатерина Ивановна Бибикова добилась свидания с братом. Она смутилась, услышав, как брякнули кандалы, но Сергей Иванович Муравьев сохранял полное самообладание и утешал сестру спокойно.

В полночь накануне казни приходил к нему священник Мысловский. Они беседовали о Христе. Священник плакал, а Муравьев,—нет. Последние часы он посвятил своему юному товарищу Бестужеву, убеждая его не бояться смерти. И на казнь он вел его под-руку, ободряя.

Муравьев перед виселицей целовал крест. Он был в числе тех трех, которые сорвались с петли, упали тяжко и снова были повешены.

Когда-то задолго до заговора и казни Сергея Ивановича, его отец, ученейший и просвещенный Иван Матвеевич Муравьев, опальный вельможа, писал своему прителю, поэту Державину: «Как в двадцать лет я был, точно так и теперь готов, как Курций, броситься в пропасть, как Фабий, обречь себя на смерть. Но отечество не призывает меня...» Старик утешал себя тем, что он вырастит детей, «достойных быть русскими, достойных умереть за Россию...».

Сергей Муравьев умер за революцию. В его представлении она отождествлялась с свободной Россией. Но этого мало. Она отождествлялась в его представлении с христианской Россией. Тщетно теологи старались бы ему доказать, что его христианство вовсе не то реальное, историческое христианство, ко-

торое защищали апостолы, исповедники, апологеты, отцы церкви... Ему не было дела до исторической правды. Диалектики истории для него не существовало. Он сам был во власти отвлеченных начал, отвлеченных принципов, но реальная жизнь смяла его, потому что он не попал в ту колею, которая была предопределена силами, более могучими, чем эта его идея абсолютной и универсальной свободы.

Значительность Муравьева была не только в этой его безумной мечте, но и в его совершенно искренней жажде соединять свою судьбу с судьбою солдат, с судьбою тогдашней крестьянской России, дважды порабощенной — крепостным правом и солдатчиной. Солдаты чувствовали это и, по единодушному свидетельству современников, любили его. Он неизмеримо ближе стоял к солдатам, чем Пестель, например. Правда, Соединенные Славяне подошли к солдатской массе ближе, чем Муравьев. Но, как живая личность, как человек, он пленял сердца и души, не зная соперников. Воистину изумительна та доверчивость, с какою пошли за ним Чернитовские солдаты. Тем ужаснее и трагичнее была развязка мятежа. И тот безумный солдат, который бросился на раненого Муравьева с криком «Обманщик», угрожая ему штыком, как об этом рассказывает Горбачевский, знаменателен необычайно. Да, в каком-то смысле этот солдат, быть может, накануне веривший каждому слову Муравьева, был прав. И сам Муравьев, после поражения мятежников, говорил солдатам: «Простите меня. Я обманул вас...». То же самое говорил он и мальчику Бестужеву. Муравьев невольно обманывал, потому что его самого обманула отвлеченная идея, в которую он поверил, как ребенок.

Гавриил Степанович Батеньков.

Г. С. Батеньков.

«Он в первый раз вздохнул в гробике...» Иным это казалось знаменательным. В самом деле, рожденный от старика отца, двадцатый ребенок в семье, он явился на свет без признаков жизни, и все сочли его мертвым. Впоследствии заточенный в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, он казался погребенным. И в этом гробу, усыпальнице мертвых императоров и живых революционеров, он пробыл более 20 лет, незримый для мира.

И, однако, Батеньков жил. И даже у него было две жизни. Одна жизнь простая, прозаическая, понятная, похожая на жизнь многих иных дворян тогдашней России,— другая жизнь непонятная загадочная, легендарная, не похожая вовсе на какую-нибудь иную жизнь.

Биографическая канва жизни Батенькова, на первый взгляд, суха и похожа на послужной список чиновника. Да он и был чиновником. Внешняя схема его жизни была такова. Гавриил Степанович Батеньков (или Батенков) родился в Томске, (а по другой версии в Тобольске) 25 марта 1793 года в небогатой семье отставного обер-офицера. Он получил среднее образование в Петербурге (ныне Ленинграде) во втором кадетском корпусе и весною 1812 года был выпущен в артиллерийскую бригаду в чине прапорщика. Бригада числилась в корпусе генерал-лейтенанта барона Сакена. Батеньков прямо со школьной скамьи очутился в действующей армии. Он был при занятии Варшавы и Кракова, в деле при г. Крен-

бау, в деле при Магдебурге, при Шато Бриене, при Монмирале, при блокаде крепости Мец... В течение трех лет он участвовал в походах, получая, то награды, то выговоры, то производства в чины—и все, как полагается обыкновенному среднему офицеру. В начале 1816 года Батеньков вышел в отставку. Его штатская служба началась в ведомстве инженеров путей сообщения, где, несмотря на замеченные в нем большие математические способности, ему не удалось благополучно устроиться, и в качестве «беспокойного человека» он был отправлен на службу в Западную Сибирь. Но и здесь у него произошло столкновение с властями, и он уже собирался бежать от «гонения Пестеля» — отца декабриста Возможно, что его карьера на этом была бы и кончена, но в 1819 году приехал в Сибирь М. М. Сперанский, который заметил и оценил даровитого чиновника и приблизил к себе. И вот Гавриил Степанович Батеньков проявил чрезвычайную деятельность на новом поприще, и это впоследствии дало ему право утверждать, что доживая свой век на поселении в Сибири, он пользуется, как гражданин, законами, в немалой мере им созданными. В 1860 году он писал: «Направление ума моего было от первой юности серьезное, дельное...» «Более всего занимал меня рациональный, отчетливый, живой и широкий строй государственных и общественных установлений; дело и приложение к нему математического метода в мышлении; ясность неукрашенного, но простого выражения». За время своей службы в Сибири под начальством Сперанского Батеньков представил целый ряд записок отчасти служебного, отчасти научного характера: о сухопутных сообщениях, об учреждении этапов; о ссыльных; об инородцах; о сибирских казаках; о приведении в известность земель Сибири... Рвение Батенькова было чрезвычайно. Он изыскивал пути около озера Байкал, изучал тамошнюю

местность, исследовал дело о дороге к Восточному океану, учредил первую в Сибири ланкастерскую школу, написал для нее учебники и один из них, геометрический, весьма замечательный. Знаменитое «Сибирское учреждение» с принадлежащими к нему уставами и положениями было составлено в значительной своей части по материалам и запискам Батенькова.

Уезжая из Сибири, Сперанский взял с собой способного чиновника. После кратковременного отдыха, Батеньков опять в качестве сотрудника Сперанского, готовит к возвращению императора с конгресса в Лайбахе «Всеподданнейший отчет по сибирским делам». Батеньков за труды свои получил единовременно десять тысяч рублей и был назначен делопроизводителем Сибирского Комитета. Это было весною 1822 года. Вскоре Аракчеев, как один из членов Сибирского Комитета, заинтересовался способным и деятельным чиновником. И вот Батеньков, сохраняя свою прежнюю должность, получает новое назначение—членом Совета военных поселений. Карьера Батенькова, казалось, была обеспечена. Но любимец Сперанского и Аракчеева встретил неожиданно для себя злейшего врага в лице начальника штаба военных поселений, Т. А. Клейнмихеля. Интриги этого генерала принудили его в 1825 г. подать в отставку. Батенькову было тогда 32 года. И вот как раз в это время, лояльнейший чиновник, близкий человек Сперанскому и любимец свирепого временщика Аракчеева, оказывается привлеченным по делу декабристов. Официальный обвинительный акт гласил, что «подполковник корпуса инженеров путей сообщения, Гавриил Степанович Батеньков, знал об умысле на цареубийство, соглашался на умысл бунта и приготовлял товарищей к мятежу планами и советами». Как это случилось? Об этом рассказывает сам Батеньков с удивительною откровенностью. 30

марта 1826 года, уже арестованный, он пишет царю: «Вина моя в существе ее проста: она состоит в жажде политической свободы и кратковременной случайной встрече с людьми, еще более исполненными сей жажды...».

Царь, сам недоверчивый и лукавый, решил, что Батеньков хитрит. На письме арестованного есть надпись рукою Николая: «Дозволить писать, лгать и врать по воле его». Батеньков не знал, конечно этих лапидарных строк и продолжал давать откровенные показания с подробностями, излишними с какой угодно точки зрения. В сущности, не было никаких фактов, но надо было во чтобы то ни стало доказать свою готовность быть искренним и праздивым. И вот Батеньков, за отсутствием реального материала, изощряется в анализе свое тогдашней «преступной» психологии. Прежде всего он озабочен изложением своего политического кредо. После Пестеля осталась «Русская Правда», после Никиты Муравьева его проект конституции, после Батенькова не осталось бы ничего в этом роде, если бы он сам с педантизмом безупречного чиновника не изложил своего «Обозрения государственного строя» в особой записке, поданной судьям.

«В числе размышлений, бывших поводом к возбуждению во мне желания перемены в образе правления,— пишет Батеньков,— я не упомянул о некоторых по существу их довольно важных. Представляю нижеследующие, кои родились *во время вечерних прогулок в Грузине*». Далее следует весьма деловая записка о внутренней администрации, об учреждении сената и коллегий, об учреждении губерний и министерств. Батеньков критикует наши тогдашние законоположения, все эти «неустройства, беспорядки и несправедливости». Затем он переходит к «обманчивой» системе налогов, к казенному хозяйству, к военным поселениям, и к винной монопо-

лии. Бесподобно это лирическое признание, что все мысли о недостатках нашего законодательства и нашей администрации явились у него, Батенькова, «во время вечерних прогулок в Грузине». Едва ли владелец этого Грузина подозревал, какие мысли возникали в голове его любимого чиновника, которого он милостиво называл «мой математик». Но вот что любопытно: «вечерние прогулки» совершались в том самом Грузине, где крепостное право процветало махрово, где дворовые, истязуемые знаменитою Минкиною, наложницею Аракчеева, в конце-концов возмутились и убили любовницу временщика,— что-же? У Батенькова в этой записке нет ни единого слова об освобождении крестьян. Самые правые из декабристов, самые умеренные, все же требовали прежде всего уничтожения крепостного права, пусть с ограничениями, продиктованными иногда классовыми интересами. Батеньков смущался «сложностью» этой задачи. Уже одна эта черта доказывает, как в сущности он был далек от целей Тайного Общества. В чем же была его вина с точки зрения царского правительства? Впоследствии, в июле месяце 1850, в черновике к письму графу А. Ф. Орлову, сам Батеньков очень образно охарактеризовал свое место в процессе декабристов. «Всем известно,—писал он,—что в существе вина моя ближе подходит под народную пословицу: был на Иване Великом, а птицы не согнал»...

В самом деле Батеньков «птицы не согнал», хотя и представил царю и судьям свой проект «конституции». Записка так и называется—«Мысли о конституции». Это, кажется, самый консервативный из тогдашних конституционных проектов. «Я никогда не писал конституции для России и не рассматривал даже сего важного предмета в полной связи и подробностях,— говорит Батеньков,— тем не менее в голове моей рождались в разное время мысли, относящиеся к сему предмету, в коих я считал долгом принести чи-

стосердечное признание». Мысли у Батенькова были таковы. Россия должна быть монархией. Надо, создать, однако, две палаты—верхнюю, Палату Вельмож, и нижнюю палату, по выборам от одного среднего сословия. Члены верхней палаты назначаются государем. Нижняя палата составляется из депутатов городов, от дворян-помещиков, от университетов и академий. Власть исполнительная принадлежит безответственному монарху и ответственному Верховному Правительству, а также министрам, действующим под контролем палаты и с соизволения монарха. Батеньков признавал кроме того свободу печати и независимость судебной власти. Любопытно, что будучи сам незнатным и небогатым, Батеньков придавал чрезвычайное значение «учреждению родового вельможества». Итак, самый сословный, самый аристократический, самый консервативный конституционный проект принадлежал Гавриилу Степановичу Батенькову, который один из всех декабристов вынес ужасную пытку одиночного заключения в каземате Петропавловской крепости. Судьба Батенькова воистину парадоксальна. Но он сам своими показаниями об'яснил нам, как случилось, что он, верноподданный, вдруг очутился среди заговорщиков. Вот как тогда сложились обстоятельства.

Батеньков был своим человеком в доме Сперанского. Он запросто у него обедал, вел долгие беседы с его дочерью и «любил с нею вышивать на пяльцах». В доме Сперанского он встретился с Николаем Бестужевым, с которым ранее познакомился на вечере у Греча. Тут же, у Греча, он встретился с Рылеевым. Вот эти встречи за несколько месяцев до катастрофы были единственною причиною ареста Батенькова. Он был повинен в либеральных разговорах, но в те дни почти все были в них повинны. Почти вся дворянская Россия, с легкой руки императора Александра, либеральничала, утратив совершенно чувство ответствен-

пости. Царь разочаровался в либерализме, но подданные не разочаровались. Монарх не знал, что ему делать Он попал в то же положение, в каком был однажды, посетив масонскую ложу Трех Добродетелей. Братья-каменщики по ритуалу обращались к нему на «ты». Такая фамильярность была ему не по вкусу. Но император был, повидимому, того мнения, что о вкусах не спорят, и смотрел сквозь пальцы на Тайные Общества, ему известные по доносам. Потом он умер в Таганроге, не успев как следует распорядиться ни престолонаследием, ни судьбою тех людей, которые увлеклись идеями, некогда любимыми самим коронованным вольнодумцем. Отношения между обществом и правительством до 14 декабря 1825 года и после катастрофы на Сенатской площади были совсем иные. До непосредственного столкновения с царем Николаем, все внутренние дела казались делами семейными. Правда, иногда эти патриархальные отношения кончались весьма мрачно, как это, например, случилось 1 марта 1801 года, но все-таки не было той пропасти между властью и обществом, какая вдруг возникла после 14 декабря. Это декабристы не сразу разгадали. Вот почему они с такою наивною готовностью спешили поделиться с царем и судьями своими чувствами и мыслями. Когда в ответ на их простодушную откровенность последовали казнь и каторга, общество сообразило в чем дело. С тех пор революционеры перестали быть наивными.

Батеньков, как и другие, откровенничал на допросе во всю. Какие он вещи рассказывал! Зачем, например, ему понадобилось сообщать о том, что Николай Павлович всегда казался ему весьма грубым фронтовиком и мстительным человеком? Принципиального в этом сообщении не было ничего, делового и фактического тоже. Как будто допрашиваемый старался во что бы то ни стало повредить себе—и все это из-за непонятной жажды быть откровенным, как на исповеди.

Оказывается, в январе 1825 года, у Прокофьева, директора Русско-Американской Компании, Батенькову в первый раз пришла мысль, что «революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна». Однако, в пути от Бронницы к Новгороду, Батенькову начинает казаться, что революция опасна и он придумывает способы для борьбы с Тайными Обществами. С удивительною, даже смешною добросовестностью, Батеньков посвящает царя в самые сокровенные противоречия и почти всегда компрометирующие его мысли. Зимние мечты о революции и контрреволюции испарились, как дым. Большую часть лета Батеньков прожил в Грузине «покойно и приятно», занимаясь постройками и делами. При этом он считает долгом сообщить: «Прочитал лорда Байрона и на несколько часов душа моя омрачена была мыслью, что и в злодействе есть много величественного». Надо вообразить себе физиономию генерала Левашова или самого царя, когда они прочитали эти лирические строки узника, который, впрочем, просидев три месяца в каземате, по собственному признанию, уже тогда «смешался в соображениях». Однако, Полоний, вероятно нашел бы в этих сумасшедших признаниях нашего Гамлета нечто систематическое. К концу 1825 года дела Батенькова очень запутались. Он, как мы видим, был отстранен от всех должностей. Естественно, что Батеньков был лично оскорблен и раздражен чрезвычайно. Он решил тогда взять командировку куда-то на Север у правления Российско-Американской Компании, с тем, чтобы послужив и поработав для этого общества, составить себе капитал и уехать с ним в Америку навсегда. Однако, обеды у директора Российско-Американской Компании привели искателя фортуны совсем к иным жизненным путям. В октябре, например, на одном из таких обедов много рассуждали об Аракчееве, который отстранился от дел, после убийства его фаворитки.

Целый стол говорил о переменах, кои последовать могут вследствие отречения графа Аракчеева. А. Бестужев сказал при сем случае, что решительный поступок одной молодой девки производит такую важную перемену в судьбе пятидесяти миллионов. После обеда стали говорить о том, что у нас исчезли совершенно великие характеры и люди предприимчивые... Уединившись с Бестужевым, Батеньковым стал развивать свои мысли о необходимости коренного переворота, но отнюдь не снизу, а сверху. Это, между прочим, дало повод Бестужеву многозначительно сострить. На вопрос Батенькова, где квартира Рылеева, который жил в том же доме Американской Компании, Бестужев ответил: «Внизу до времени». Посещения дома Прокофьева продолжались «Это дало удобность членам Тайного Общества действовать на меня»,—пишет Батеньков.—«У Прокофьева могли они видеть меня почти каждый день, ибо я любил там проводить по нескольку часов с девицами». Между прочим, это в течение к прекрасному полу было, по-видимому, едва-ли не самой большою слабостью Батенькова. Он даже приписывал временное к себе охлаждение в Сибири Сперанского тому обстоятельству, что он, Батеньков, слишком тогда увлекался прелестными дамами... За то в течение 20 лет, запертый в каземате, Батеньков не видел ни разу женщины, и немудрено, что он, освобожденный, бросился на шею первой попавшейся ему на глаза бабе, которая приняла его за пьяного. 12 марта 1847 г. он писал из Томска Е. М. Багреевой, дочери Сперанского, той самой, с которой когда-то он любил вышивать на пяльцах: «Жадно смотрю на женщин. Неестественная разлука с матерями, супругами, сестрами, невестами произвела во мне такую к ним нежность, что я понимаю, почему змей не перед Адамом поглотил пастью свой ошиб». Оказывается, что тот самый роковой разговор с Александром Бестужевым, о кото-

ром Батеньков рассказывал в своих показаниях, начался с вопроса о любви. Об этом Батеньков повествует в одном из писем 1860 года: «И вот, когда весь Петербург предавался толкам вкривь и вкось об убийстве майорши Шумской, в Грузине, принадлежавшем графу Аракчееву, это уже в октябре или ноябре 1825 года, я застал войдя после обеда в биллиардную комнату у Прокофьева, Александра Бестужева, одинокого, задумавшимся и мрачным. Спросил, не любовь ли его смущает. Это по обстоятельствам было немного щекотливо, и отвечал он с упреком, что любовь, да не та, а он думает о приложении недавнего явления этой страсти к предмету более общеполезному. Вот как образуются герои, заметил я,—Да, возражал Бестужев, оно бы смешно было, если бы таким героем я был один, но нас уже многих насчитать можно. Эта речь тогда же прерванная появлением хозяина дома, сверх всякого моего чаяния, обратилась в узел, из которого развились впоследствии нити к перевороту моей жизни. Уже можно было сказать, что секрет мне открыт, и я донести был должен».

Но, Батеньков, однако, не донес. Напротив он поддерживал свои связи с заговорщиками с какою то неопределенною целью, может быть, из честолюбия, польщенный признанием с их стороны его способностей и ума. Он впрочем не считал себя членом Тайного Общества. Заговорщики предполагали ввести в состав Временного Правительства Сперанского и... Батенькова, последнего в качестве правителя дел. Участь этих кандидатов на государственные посты будущей Российской Республики известна: Сперанский был одним из судей этих самых республиканцев, а Батеньков оказался на скамье подсудимых, среди преступников.

В третьей записке в Комитет, поданной 23 марта 1826 года, Батеньков сам описал декабрьские дни и свое в них участие. Он в эти дни читал две книги—

Тьери «О завоевании Англии норманами» и г-жи Сталь «Об Англии» и весь—по его словам—«был напитан» либеральными идеями. 27 ноября утром пришла весть о смерти императора. «Мне казалось постыдным,—признается Батенков, — пропустить сей день, не дав заметить, что и в России есть уже желание свободы. По сему говорил слишком вольно, что Совет и Сенат спят...» В таком настроении он поехал к Рылееву. Там он встретил таких людей и услышал такие речи, что им овладело смущение и страх. «На другой день, обдумав основательнее, решился никогда на будущее время не играть не свойственной мне роли народного защитника». Однако, при встречах с Трубецким и Штейгелем, он опять не удержался и высказывался в либеральном духе. Говорил, между прочим, что «нас разумеют, как стадо овец и гоняют, как захотят от одной присяги к другой». В это же время Батенькову, по его странному признанию, иногда приходило в голову написать записку об опасности политических тайных обществ и даже указать на Трубецкого, но он тогда же соображал, что у него нет никаких доказательств, что Трубецкой в самом деле заговорщик. А между тем встречи Батенькова с опасными людьми не прекращались. Он зашел, например, к Якубовичу и даже советовал ему как-то фантастически собрать какую-то толпу и требовать с нею у царской фамилии конституции. Потом они мечтали вместе о какой-то «свободной колонии» на Валдайских горах. «После,—пишет Батеньков,—пустились в германскую философию, побранили свой век за то, что нет твердых характеров и расстались—я, по крайней мере, с чистою душою, ибо знал, что люди говорят легко, а действуют по мере опасности. До 14 декабря не верил, чтобы кто-нибудь из известных мне решился на отчаянный шаг...»

Потом Батеньков увлекся опять чтением либеральных книг. «Я предавался,—пишет Батеньков,—мечтаниям о России под представительным правлением, воображал себя то оратором оппозиции, то министром...» «В сем расположении духа 7 или 8 декабря посетил меня Трубецкой...» «Поелику Трубецкой, согласно со мной, желал конституционной монархии, то для меня блеснула надежда, и я занялся с ним рассуждением, как можно воспользоваться сим случаем...»

Батеньков изложил Трубецкому свой проект конституции. Они обсуждали также шансы на успех революции. Батеньков сказал, что если нет в достаточном количестве готовых к восстанию солдат, то «и думать нечего, ибо всякое предприятие опасно...» Два дня спустя, Батеньков опять попал к Рылееву, где говорились революционные речи, но Батеньков возражал, доказывая, что надо стремиться к конституции путем переговоров с правительством, не прибегая к насилию...

12 декабря Батеньков был в церкви и «до слез тронут был речью священника в честь покойного государя...» «Казалось,—продолжает откровенничать Батеньков,—что сим потушены были все мои революционные идеи, но через несколько часов, встретившись в одном доме с офицером лейб-гренадерского полка, увлекся опять...»

13 декабря Батеньков куда-то ехал в коляске с Александром Бестужевым и в разговоре «из'явил желание,—по его словам,—видеть на престоле государыню Елисавету Алексеевну или Михаила Павловича, и, наконец, с спокойным духом пошел к купцу Сапожникову обедать, играл там на биллиарде и в бостон с женщинами...»

После этого Батеньков отправился к Прокофьеву. «Увидев Рылеева,—говорит Батеньков,—услышал от него, что завтрашним днем можно воспользоваться и

что буду во временном правлении с Мордвиновым и Сперанским. Я говорил ему, что Сперанский не примет в таких случаях никакого места, и не распрашивая совершенно ни о чем, ибо он тотчас меня оставил, уехал домой и лег спать...»

«По утру 14-го числа я сначала пустился в свои мечтания о временном правлении и о родовой аристократии, но тотчас был с высоты своей свергнут повесткою ехать к присяге...» После некоторого смущения и колебания Батеньков поехал и присягнул.

«После,—рассказывает Батеньков, — был в дежурстве Путей Сообщения и узнал, что солдаты вышли на площадь. Возвратясь домой, выходил на тротуар, услышал, что беспорядков никаких нет, что хотя и кричат солдаты с толпою мужиков «Константина», но дамы спокойно возле них ездят. Я заперся дома и не предавался уже никаким мечтаниям, желал единственно, дабы дело скорее и спокойнее прекратилось, чтобы тех отчаянных революционеров, кои выйдут к солдатам, переловили, и чтобы государь, остереженный сим уроком, стал царствовать в мире и с благорасположением...»

Благодушный оптимизм Батенькова и его двусмысленное вольнодумство получили возмездие. 27 декабря 1825 г. он был арестован и после следствия и суда отнесен к третьему разряду государственных преступников, приговорен к ссылке на каторгу, но вместо того, просидел в строжайшем одиночном заключении 21 год один месяц и 18 дней.

В известном официальном «Алфавите» декабристов вина Батенькова характеризуется довольно точно: «Был членом общества со дня смертии покойного императора, но еще прежде вступления питал образ мыслей, согласно с духом оного. В совещаниях перед 14 декабря участвовал и подавал мнения, хотя и клонившиеся к достижению цели Общества, однако, более умеренные и ограничивающиеся одним стремле-

нием ко введению конституционного правления, стараясь, впрочем, оградить во время переворота общее спокойствие и удалить всякую возможность от грабежа и буйства. Когда при нем сказано было, что можно забраться и во дворец, то он возразил: «Дворец должен быть священное место; если солдат до него коснется, то уже ни от чего удержать его будет невозможно...» и т. д. Итак, один из наименее виновных декабристов подвергся едва ли не самому страшному наказанию. В чем же дело? Чтобы ответить на этот вопрос, надо выяснить вторую, внутреннюю, загадочную жизнь Батенькова, надо представить себе его духовную судьбу, не совсем обыкновенную, странную, которая смущала его биографов не менее, чем его тюремщиков.

После Батенькова остались незаконченные, правда, но интересные для характеристики его детства, записки — «Повесть собственной жизни». Из этой повести можно извлечь кое-что. Существует, как известно, болезнь б о я з н ь п р о с т р а н с т в а: хотя Батеньков этой болезнью не страдал в клиническом смысле, но где то в глубине его души зачатки этой немощи у него были. «В первый раз вздохнувший в гробике», запертый на полжизни в каземате, он как-будто неслучайно был огражден судьбою от свободных далей, как будто ему надо было уйти в самого себя, как улитке в свой мертвый дом, на какой-то срок, для того, чтобы после этого плена, после пытки одиночества, по новому узреть мир. В своей повести Батеньков пишет о своих младенческих годах: «Когда взяли меня гулять по улицам города, чувство пространства так на меня подействовало, что я испугался: прижался к отцу и не смел внимательно смотреть на предметы, вновь мне во множестве представшие, едва не заплакал, ходил, почти не понимая себя и, когда возвратился домой, рад был,

как избавившийся от великой беды, как погибавший и спасшийся...»

Второе младенческое впечатление было не менее знаменательно. Теперь он от страха перешел к иной ступени мудрости—к удивлению. Его повели на гору, которую он видел ранее лишь из окна дома. «Зрелище,—рассказывает Батеньков, — было так великолепно для меня и разительно, что казалось, что я выхожу из самого себя, росту и становлюсь все большим и большим. Но каково было мое удивление, когда мы поднялись, и там предстала обширная площадь, опять дома, опять церкви. Я воображал гору тонким гребнем и думал, что на ней большим людям стоять негде, а могли семенить только маленькие человечки, почти такие же, как куклы девочек. В полном забвении себя я пришел в такой восторг, именно от нового сознания, что не помнил уже где я. Даль казалась мне безмерною, необ'ятною, само небо новым, чашею, покрывавшею бесконечность. Такое впечатление осталось у меня на всю жизнь...» Из биографии Батенькова мы знаем, что он был храбрым офицером, а в официальной реляции даже было сказано, что в каком-то сражении наш отряд потерял два орудия «от чрезмерной храбрости» офицера Батенькова и, однако, этому самому чрезмерно храброму Батенькову, был присущ всю жизнь некий особенный страх—страх перед бытием вообще. Этот страх посетил его в раннем детстве. Он боялся, например, звуков. Колокольный звон внушал ему трепет. Он боялся предметов, если они выходили за нормы, какие он сам им определял. Так в церкви «образ Спаса непомерной величины» внушил ему странный ужас. «Я,—говорит он,—лишился чувств от испуга, и из церкви вынесли меня на руках. Это сделало меня через меру робким и пугливым».

«Страх этот напоследок мог лишить рассудка. Когда нечаянно на глазах моих выбежал из острога человек закованный в кандалы, я решительно стал бояться железа; везде подозревал, что оно несносно, и один вид вблизи острожных башен ввергал меня в беспамятство...»

Наслушавшись житий святых и рассказов о подвигах мучеников, маленький Батеньков возжелал спасения, отказался от мясной пищи, спал на полу... Однажды, подражая св. Даниилу Столпнику, «вскарабкался, хотя и с боязнью, на один из заборных столбов в огороде с намерением простоять на нем всю жизнь». Но и на этот раз его младенческое сердце посетил ужас. «Через несколько минут,—рассказывает он,—закружилась у меня голова, и напал такой с т р а х, что я закричал во все горло...»

Батеньков думал, что в это время он понял смысл слов: н е б у д е т к о н ц а. В своих записках он рассказывает, что впоследствии после долгих молитвенных опытов, он пришел к мысли о ненужности чрезмерного аскетизма. «Стоял не коленях перед образом по целым дням, боролся с собою, не чувствуя желаемого умиления и продолжал это дотоле, пока внезапным осеянием ума обнял, какое мне свойственно богопознание и вероваиие: увидел, что принятый мною путь есть только отрицание и не ведет ни к чему, кроме изнурения...» «Впоследствии прочитав исповедь Гоголя и зная вполне его состояние, желал я из'яснить ему это: написал сряду два к нему письма; одно, и лучшее, не дошло. На другое он ответил, благодарил и обещал не почитать свои М е р т в ы е Д у ш и ни слишком великим делом, ни грехом смертным...»

Итак, страх, с таким трудом преодоленный Батеньковым, наполнял его душу с самых младенческих дней. «Когда в первый раз вышел я в лес,—пишет он,—мне казалось, что это уже другой мир; по мере

утлубления начал чувствовать страх; думал, что тут непременно должно заблудиться и невозможна уже никакая примета для выхода, не видно нигде прямой линии, путеводительницы нашей. Когда подошли к кустарнику, он мне показался чем-то волшебным...»

Он боялся не только зрительных и слуховых впечатлений. Его страшили даже вкусовые ощущения. «Я ничего не могу есть, что было живо, уже несколько десятков лет, и чувствую спазмы даже и тогда, когда посуда служила прежде для мясной или рыбной пищи...»

Неволя, боль, лишение чьей-либо жизни—все это вызывает в каждом страх, но в Батенькове этот страх достигал какой-то необычайной силы, заполнял всю его душу. Он мучительно скорбел, видя птичек в клетках, как бы предчувствуя свою будущую судьбу, и решительно не мог видеть зрелища кухонных операций с самого того часа, когда еще в первом младенчестве увидел петуха, которому отрезали голову, и он окровавленный, сделал несколько кругов по двору, пока не упал.

Отвращение к противоречиям жизни, к ее кровавой несправедливости, было свойственно Батенькову всегда, но и тот беспредметный страх, который так властно владел им в детстве, должен был найти себе какое-то выражение в дальнейшей жизни Батенькова. Взрослый Батеньков перестал бояться высоких гор, волшебного кустарника и больших икон, но таинственный страх перед бытием в нем остался. Надо его было осмыслить. И вот Батеньков стал масоном, в надежде, что масонство откроет ему тайну жизни. Многие декабристы были масонами, но не все вступали в масонский союз по таким мотивам, как Батеньков. Он не столько был заинтересован культурно-общественной работой масонства, сколько эзотерическим учением розенкрейцерства. Батеньков состоял

членом в петербургской ложе Избранного Михаила, в союзе Астреи. В Томске он был в числе основателей ложи «Восточного Светила» в 1818 году, принадлежавшей также к союзу «Великой Астреи». Повидимому, сближение Сперанского с Батеньковым отчасти об'ясняется тем, что они оба были масонами. Существует любопытный рассказ Батенькова о том, как он, получив четырнадцать штыковых ран в сражении под Монмиралем, лежал бездыханный на поле битвы и был спасен французскими офицерами-масонами, которые по какому-то знаку узнали в нем брата-каменьщика. Сам Батеньков придавал своему масонству важное значение. «Пробыв,—пишет он,—двадцать лет в секретном заключении во всю свою молодость, не имея ни книг, ни живой беседы, чего никто в наше время не мог перенести, не лишась жизни, или, по крайней мере, разума, я не имел никакой помочи в жестоких душевных страданиях, пока не отрекся от всего внешнего и не обратился внутрь самого себя. Тогда я воспользовался методом масонов к обозрению и устройству представленного мне нового мира. Таким образом укрепил себя и пережил многократные нападения смерти и погибели».

Вопрос о том, почему Батеньков один из всех декабристов подвергся такому страшному наказанию, как одиночная многолетняя тюрьма, приходится решать в связи с тем не совсем обыкновенным душевным состоянием, какое у него было накануне ареста, и какое в крепости раскрылось в форме, понудившей тюремщиков признать его сумасшедшим. Надо представить себе живое лицо Батенькова. Мы видели, как с раннего детства он был обуян непонятным страхом. Жизнь казалась ему таинственной и загадочной. Ему свойственно было то душевное состояние, какое принято называть мистицизмом. Это не мешало ему, однако, добросовестно и трезво исполнять свои житейские обязанности офицера, инженера, чинов-

ника. Духовный опыт Якова Беме не помешал ему быть хорошим сапожником и Анна Шмидт, обладая подобным же опытом, была превосходным газетным репортером. Также и Батеньков, изучая мистические розенкрейцеровские рукописи, удивлял начальство своей работоспособностью и деловитостью. Но, быть может, эта самая трезвая прозаическая деловитость и спасала Батенькова от окончательного душевного крушения. Простая внешняя жизнь с ее повседневными заботами создавала равновесие в натуре Батенькова. Пока он писал свои докладные записки об инородцах, губернской администрации и еще о чем-то; пока он играл в бостон с дамами в уютной гостиной директора Российско-Американской Компании,—его тайные занятия по масонской программе не разрушали видимой стройности его умственной жизни. Но вот он попал в каземат. В течение многих лет у него не было ничего, кроме Библии, которую он перечитал, по его словам, сто раз от доски до доски. И при этом чтении он пользовался масонским ключом, сомнительным во всех отношениях. Естественно, что он почти разучился говорить на общепонятном языке; естественно, что его в иные часы и дни могли счесть за сумасшедшего. Его биографы разошлись в оценке умственного и духовного состояния Батенькова, заживо погребенного в тюрьме. Один уважаемый исследователь придает чрезвычайное значение «прозрениям» Батенькова. Этот историк пишет: «Поразителен его рассказ об откровении, бывшем ему; поразительны записи, сделанные им вскоре по освобождении, тотчас по приезде в Томск, где он пытается восстановить ход своих мыслей, возбужденный тем переворотом, взгляд нового человека, разрушившего и теперь заново создающего мир; и если в этих записях многое нам не понятно, то, может быть, когда-нибудь люди лучше нас сумеют разобрать эти облеченные в слово тайны прозревшего духа». Дру-

гой уважаемый исследователь приходит к выводу прямо противоположному. По его мнению, Батеньков,—по крайней мере в 1835—1845 г.г.,—был совершенно безумен,—так же безумен, как и в период приезда из крепости в Томск, в марте—июне 1846 г.».

Кажется, эти крайние мнения можно в конце концов примирить. Конечно, Батеньков не был человеком вполне нормальным. Едва ли, вообще, возможно для человека сохранить полное душевное равновесие при попытке вынужденного одиночества и бездействия на протяжении двадцати лет. Но эта ненормальность вовсе не исключает существенного интереса, который представляют не всегда понятные записи несчастного узника. Назвать человека сумасшедшим, приклеить к нему тот или иной клинический ярлык—это еще не значит понять и выяснить его душевную жизнь. А Батеньков имеет право на исключительное к себе внимание.

Николай Первый любил, повидимому, об'являть своих политических врагов сумасшедшими. Так он поступил с Чаадаевым, одним из умнейших русских людей. Однако, если мы обратимся к мистическим записям Чаадаева, то нам придется согласиться с царем Николаем, что автор знаменитых «писем» был в каком-то смысле безумец. Батеньков не безумнее Чаадаева. Только Чаадаева оставили в покое, и он мог доживать свой век в Английском клубе, а злополучный Батеньков томился в Алексеевском равелине. Когда в 1846 году граф А. Ф. Орлов, шеф жандармов, по ходатайству коменданта крепости Скобелева, сделал специальный всеподданнейший доклад об увеличении тюремного пайка Батенькову на $16^{3}/_{7}$ коп., Николай 1-й из'явил на это согласие. Тогда Орлов присовокупил, что «все участники в преступлении Батенькова, даже более его виновные, уже несколько лет освобождены от работ и находятся на поселении, тогда как он остается в заточении, и до-

селе не было делаемо соображений, не следует ли каким-либо образом, без вреда общественного, облегчить и его участь». Царь на этом докладе написал: «Согласен, но он содержался только оттого, что был доказан в лишении рассудка; надо его переосвидетельствовать, и тогда представить, как далее с ним поступить можно». В рапорте генерала Скобелева мы находим следующее любопытное свидетельство: ...«При нередких посещениях,—пишет он,—я никогда не находил преступника Батенькова лишенным рассудка, в чем и крепостной медик со мною согласен. Было прежде, что он сердился и повергался даже в отчаяние, подозревая, что письма его к государю императору не доставляются. Но, когда я решительно отказался и принимать от него письма на высочайшее имя, он совершенно успокоился и в шесть последних лет—тих, скромен, послушен и за малейшее к нему внимание благодарен.—При разговоре он часто сбивается, повторяет одно и то же слово несколько раз, но предмет материи помнит, читая выписываемые ему журналы, хорошо понимает, а из латинской Библии святые истины передает вразумительно и ясно. Из секретной переписки покойного коменданта Сукина видно, что Батеньков был по форме сумасшедшим, но таковым не нашел уже его и настоящий смотритель майор Яблонский, находящийся при этой должности семнадцать лет». Комендант Сукин, сообщивший секретно о сумасшествии Батенькова, умер в 1837 году, а генерал И. Н. Скобелев был назначен комендантом летом 1839 года. Книги и журналы Батенькову стали выдаваться лишь в 1845 году.

Итак, показание генерала Скобелева достаточно убедительно и подтверждает наше предположение, что «ненормальность» Батенькова была весьма относительна. Не momenta lucida возникали в его душе, изредка среди мрака безумия, а, напротив, свет сознания сменяли иногда momenta obscura. Эпизод с

ходатайством декабриста А. О. Корниловича, соседа Батенькова по камере, не опровергает нашего мнения. В 1832 году Корнилович просил Бенкендорфа разрешить ему свидание с товарищем, которого он считал душевнобольным на том основании, что к нему, Корниловичу, иногда долетали вопли заключенного. Корнилович, добиваясь свидания, естественно мог назвать безумными воплями те крики, какие, как нам теперь известно, испускал Батеньков вполне сознательно, чтобы услышать свой собственный голос и нарушить тоскливую тишину тюрьмы. Один из ближайших друзей Батенькова рассказывает следующее: «Проведя двадцать лет в полном безмолвии, Батеньков чрезвычайно тяготился тишиной. Однажды, в Петрищеве сидел он у камина, в комнате никого не было. Вдруг слышат, что из этой комнаты раздаются крики; все побежали туда. Но вбежав в комнату, находят одного Батенькова, спокойно сидящего у камина.—Гаврил Степанович, что с вами?—спрашивают его. «Ничего, надо же человеку и покричать».

Вопрос о том, по *чьей воле* сидел Батеньков в своей страшной тюрьме, вовсе не безразличен. Один из биографов утверждает, что он сидел *по своей собственной воле.* Понятно, как соблазнительно принять такую версию. Какой тогда открывается богатейший источник для понимания души Батенькова! Но едва ли можно поверить в эту легенду без некоторых к ней поправок. . Возникла эта легенда в семье самых близких Батенькову людей, в семье вдовы его друга А. А. Елагина. Автор воспоминаний пишет: «Бывши обвинен в участии заговора 14 декаб. 1825 г., Батеньков был посажен в крепость. Впоследствии оказалось, что он невинен; тогда император Николай Павлович приказал выпустить его, произвести в следующий чин и дать денежное вознаграждение. Батеньков чрезвычайно испугался этого, думая, что заговорщики, узнав о царской к нему милости, обвинят его в преда-

тельстве, вследствии чего он написал письмо к государю, в котором об'являл, что хотя он и не участвовал в заговоре 14-го декабря, но сочувствует людям, которые замешаны в нем, и что если его выпустят, то он, Батеньков, составит новый заговор. Государь послал к нему своего доктора Арендта освидетельствовать, нет ли у него горячки; тогда Батеньков сказал Арендту: «Если вы скажете, что я болен, то пусть вы и отвечаете за последствия моего освобождения». Тогда Арендт доложил государю, что хотя пульс и возбужден, но умственной болезни он не нашел. Батенькова приговорили к двадцатилетнему заключению в Петропавловскую крепость».

Если это сообщение легенда, то во всяком случае весьма правдоподобная. Источник легенды, семья Елагиных, авторитетен. С Авдотьей Петровной Елагиной Батеньков был вполне откровенен. Допустим, что автор сообщения что-либо запамятовал и даже напутал. Однако, нет дыма без огня, и какая-то правда в этом сообщении есть. У Батенькова были основания опасаться в случае царской милости подвергнуться подозрению в предательстве. Он был, ведь, как никак свой человек в доме Аракчеева. Иным еще до катастрофы 14-го декабря казался подозрительным либерализм Батенькова и его свидания с заговорщиками. Мы знаем, что среди членов Тайного Общества возникали разговоры по этому поводу. Правдоподобно также и то, что у Николая 1-го могли явиться сомнения в действительной виновности Батенькова. Царь мог склониться к мысли, что Батенькова надо помиловать. Возможно, что Сперанский, если не сам, то посредством кого-либо из близких царю людей, пытался защитить своего брата по масонскому союзу и нужного ему помощника. Мы, ведь видели, как благожелательно была составлена характеристика Батенькова в официальном «Алфавите».

Наконец, что можно противопоставить сообщению Елагиных? Все существующие гипотезы и менее правдоподобны, и выдвинуты людьми, которые лично Батенькова не знали. Само собою разумеется, что надо понимать весьма условно эту «добрую волю» Батенькова, который будто бы сам выбрал для себя беспримерное наказание, дикую и долгую пытку. Из резолюции царя на докладе Орлова видно, что решение оставить Батенькова в Алексеевском равелине принадлежит все-таки самому царю. Он полагал, очевидно, что для излечения душевного недуга это самое подходящее место. Правда, в письмах Батенькова существуют какие-то неопределенные намеки, дающие повод предположить, что он и сам предпочел сидеть в тюрьме, не разделяя каторжной судьбы товарищей по несчастью, но в те дни Батенькову казалось даже среди его душевного смятения, что он, как некий бог, строитель и владыка мира. Царь и тюрьма—все это было так ничтожно! Ему надо было найти внутри себя нечто более важное, чем этот жалкий и суетный мир. Немудрено, что он писал позднее: «Бог дал мне вдруг глубокое чувство... Я убедился в том, что не должен оставлять своего уединения и не жалеть, что прекращаю все связи с людьми»... В его представлении смешались события внешние и внутренние. Он уже не различал свободы и необходимости. Но примечательно, что и впоследствии освобожденный Батеньков никогда не допускал мысли, что он был душевно болен там, в тюрьме. Он всегда был убежден, что в уединении, после таинственного и страшного духовного опыта, постиг некую великую истину. Вероятно, Батеньков забыл содержание и форму своих посланий на высочайшее имя, которые были им писаны из крепости в январе и феврале 1835 года. Это были те momenta obscura, которые свидетельствовали с очевидностью об утрате «дне-

ного» сознания. Эти страшные документы сохранились в архиве «Третьего Отделения».

Однако, несмотря на бред, который порою овладевал несчастным, в душе Батенькова слагалось некоторое последовательное мировоззрение. Духовный опыт, который обрел Батенькова в тюрьме, был ужасен, но этот мрачный опыт Батенькову удалось преодолеть. Он сам рассказывает об этих своих «прозрениях», об этих всех душевных муках, которые психиатры назовут зрительными и слуховыми галлюцинациями и, которые, однако, ему самому казались чем-то иным.

Вот отрывки из этих признаний Батенькова: «В ноябре месяце 1827 года, я стал чувствовать сильный пиэтический восторг, непоколебимую веру богу, стал выражать мысли обыкновенным размером стихов и ясно чувствовал, что это действие в душе высшей силы. Значение этого вдохновения... огонь. В январе или феврале 1828 года последовало действительное наитие духа. Казалось, весь покой, в котором я находился, наполнился волнующимся пламенем, столько же видимым, сколько и понятным. Само собою разумеется, что пламя не могло сожигать, было невещественное, и я разумел это. Разумел также, что со мною происходит то самое, что происходило с пророками и в день пятидесятницы»...

Но этот приступ восторга сменился иным, уже темным, душевным состоянием. Батеньков почувствовал себя творцом, равным богу и вместе с ботом решился разрушить мир и пересоздать. Однако, «первый возврат обыкновенного разума» привел его «в крайний ужас». Потом он опять стал слышать какой-то таинственный голос, который требовал от него самоистязаний. Батеньков думал, что это беседует с ним ангел. Вскоре он усомнился в этом. Аскетические опыты, к которым понуждал его голос, представились Батенькову жестокими и напрасными.

«Видя несообразность с разумом такой жестокости, я решился не позиноваться ангелу и оставил молитву, устремился всеми силами к обыкновенной жизни».

Так несчастный Батеньков бился в сетях страшных внушений и предчувствий. В один из самых мрачных припадков ужаса, он решил послать царю свои записи. В некоторых из них какие-то судороги изнемогающей мысли.

Однако, ему удалось овладеть своим сознанием. В позднейших записях, относящихся к 1846 году, уже в Томске, Батеньков так формулирует свое религиозное мировоззрение: «В познании, что бог есть, воля стоит без пределов... Нельзя уже итти чрез да и нет. Познание, что бог есть, есть совершенное наслаждение умом. Познание это обильно и составляет жизнь мыслящего человека. Для того и следим природу, чтобы жить сим сознанием. Каждое слово, каждый предмет, всякое действие в мысли приводит к истине. Глубок, могуч, многообразен, свободен, бессмертен человек сим познанием. Оно одно и бесчисленно».

Батеньков считал себя масоном. Даже в год смерти, он написал записку, в которой приписывает масонству положительное значение. Оно ключ к познанию истины. Мы знаем, однако, как в конце XVIII и в начале XIX века, сами масоны расходились в оценке своего учения. Масонство не было чем-то однородным и единым. Иные ложи враждовали друг с другом. В отношении к религии были существенные разногласия среди братьев даже высоких степеней. Церковные люди не без оснований предполагали, что за некоторою христианскою видимостью, таится решительное отрицание христианского богопознания, а иногда, и атеизм. Но были и такие масоны, которые искренне верили, что церковь и масонство не суть соперники. К этим последним принадлежал и Батеньков. Об этом свидетельствуют последние годы его жизни. Прибыв с фельдегерем в Томск

в 1846 году, Батеньков поселился там в семье чиновника Лучшева и прожил благополучно десять лет, строго соблюдая предписания православной церкви. В 1856 году он получил возможность вернуться в Европейскую Россию. Здесь он сначала жил в Петрищеве у Елагиных, а потом построил себе дом в Калуге, где и умер в октябре 1863 года. В течение последних семнадцати лет он писал своим друзьям обстоятельные письма, которые не дают повода предполагать в нем душевную болезнь. В этих письмах он нередко касается религиозных тем, но сознание его ясно, и мысли точны. Вот, например, весною 1850 года на пасху он писал жене своего покойного друга, Авдотье Петровне Елагиной: «Христос воскресе! Этим радостным словом мне нельзя тебя не приветствовать, моя добрая сестра, оно сближает наши души и проливает в них обильный свет веры, надежды и любви. Велико милосердие божие! Ну, что если бы мы при нашем развитии чувств и разума, в наши тяжкие века, оставались доселе в языческом служении... Вот уже подлинно были бы бедны и суетны, и не быв безбожниками, были бы безбожны. По простому взгляду на всеобщее веселье, по необходимой потребности в успокоении ума в нынешнем его разливе, если бы мы вовсе не слыхали о воскресении христовом,—гений указал бы, что прославление богом хотя одного лица, хотя одного имени, в истории действительно не достает, и круг его ничем иным сомкнут быть не может. Не зная в небе неподвижной точки, мы бы носились в пространстве, как капли воды в море, и не имея понятия о возвратах, не могли бы сделать употребления из своего разума. Теперь также имеем и нравственную опору в небе, при которой все языческие мифы и все различные верования стали быть не бессмысленными»... «Итак, приветствую тебя и целую, с полной уверенностью, что Христос воистину воскрес»...

В том же году в сентябре Батеньков высказал свои любопытнейшие мысли об аскетизме. «Я,—писал он,—испытал это настроение души, в котором кажется, что из мира один только шаг стоит сделать, и последует совершенное от него отречение. Нет, мир не башмак, с ноги не сбросишь. Куда проходит воздух, проходит и мир, везде светское, где есть свет, и что могут тут толстые монастырские стены и самый нахлобученный клобук. Кажется, простее в мире и искать его творца»... «Мы ищем исключительных даров святого духа, но прежде должны знать, что все творение свято. Искомый дар не есть категория, а некая поляризация»... «Склонность к аскетизму есть какая-то потребность в исключительном деле, в исключительной заслуге, и если ограничиться одними размышлениями благочестивыми, то всего опаснее. Деятельный ум непременно впадает в скептицизм; ум слабый обымется суеверным страхом. Жизнь, в самом простом значении слова, и отрицание того, что ведет к смерти, есть лучшее угождение богу и по разуму, и по букве евангелия. Тогда только и самопожертвование, разумеется, в важных случаях, имеет полную цену».

В начале своего заключения Батеньков просидел около шести месяцев в форте Сварттольм, на Аландских островах. В этом подневольном уединении, Батеньков написал свою поэму—«Одичалый». Последняя строфа этой поэмы такова:

Вкушайте, сильные, покой,
Готовьте новые мученья!
Вы не удушите тюрьмой
Надежды сладкой воскресенья.
Бессмертие! В тебе одном,
Одна несчастному отрада—
Покой в забвеньи пробовом,
Во уповании—награда!..

Здесь та же религиозная тема, что и в письмах. Как психологический документ, эта поэма весьма

ценна. Но Батеньков не стихотворец. Стихи его не звучат. Впрочем, в существе своем Батеньков был поэтом. Об его даровании свидетельствуют его письма. Иные фрагменты выразительны и обличают в авторе настоящего художника. Вот, например, описание сибирского мороза. «Зима у нас лютая. Морозы начались вскоре после Николы и доселе не было оттепели менее двадцати градусов»... «Такая погода имеет свою величавость. Воздух густ, как бы маслянист, и совершенно спокоен. Солнце в радугах; все покрыто алмазами; птицы летают низко, лица румяны; пусто и тихо»... Или вот его характеристика наводнения: «Пожары страшны; потопы убийственны. В первых люди кажутся живыми и деятельными; здания разрушаются с красотою и величеством; в последних люди унылы, безжизнены, и потопленное сооружение кажется плачущим». Здесь есть свой стиль, свои приемы, своя интонация.

У Батенькова была и своя эстетика в соответствии с его мировоззрением: «Поэзия,—писал он,—теперь скована схоластическими и мифологическими формами: она в куколке, труп минувших веков еще не убран, свет слабо сияет в необ'ятном и неисследованном пространстве. Настанет день—Давид возьмет перевес над Гомером, а вдохновение, проистекая из прямого его истока, разольется в обилии и, конечно, уже не истощится. Без бога какая поэзия? и без бога мир наш—мир без природы, простой отточенный шар. С природою поэзия только может помирить математику, без нее пресловутая вязальщица количеств останется навсегда мертвою и ничего не из'яснит. Едва ли не в железе вся душа ее». И далее Батеньков пишет: «Я живу одною поэзиею, через нее и гоню старость, недуги и печали»...

Батеньков был одним из наших русских гениальных неудачников: будучи поэтом, он не удосужился предаться мастерству слова; обладая исключитель-

ными способностями инженера и математика, он не выстроил ничего примечательного и написал всего лишь элементарный учебник по геометрии; безупречный офицер, он был обвинен начальством в «чрезмерной» храбрости; превосходный чиновник, он по воле Клейнмихеля, получил отставку от всех должностей; своеобразный мыслитель, он изнемог под игом масонской мистики; наконец, политик и законодатель, он был заключен в каземат Петропавловской крепости на двадцать один год...

Петр Григорьевич Каховский.

5

Каховский.

Появлению в 1774 году романа Гете «Страдания молодого Вертера» предшествовало, как известно, самоубийство друга поэта, Карла Вильгельма Ерузалема, а также влюбленность поэта в Шарлоту Бух и его собственная мысль о самоубийстве: кинжал несколько ночей лежал около постели поэта... Но Гете не убил себя, излив свои чувства в романе и обретя в творчестве утешение. За то многие Иоганны, Карлы, Генрихи, прочитав с увлечением сентиментальный роман, бросались в Рейн с живописных холмов, принимали яд в сладком вине или, как сам Вертер, оканчивали свои жизненные расчеты выстрелом из пистолета. Тому причиною, вероятно, было не столько влияние соблазнительного романа, сколько воздействие эпохи и среды. Достоевский очень гордился тем, что вскоре после написания им «Преступления и Наказания», какой-то студент в Москве совершил убийство почти по таким же мотивам, как и Раскольников. Студент этот не успел прочесть романа Достоевского, за то он успел прочесть загадочную страницу русской жизни, ту самую страницу, на коей имеется подзаголовок—*Нигилизм*.

Петр Григорьевич Каховский жил за сорок лет до преступления Раскольникова и его жизненных двойников, и тогда еще не было нитилизма: за то в моде было иное словечко—*романтизм*. Оба эти слова весьма расплывчаты, как термины, и, однако, при всей своей неточности, они выражают кое-что, и роман-

тип 20-х годов не менее типичен, чем нигилист шестидесятых.

Марлинский создал ряд романтических героев, Каховский сочинил сам себя в том же духе. Муза Клио возжелала, чтобы появились Вертеры, и они явились послушно и в жизни, и в литературе. По ее же прихоти Занды и Каховские, Нечаевы и Бакунины, и позднее иные мечтатели приходили на арену истории, а им сопутствовали Дубровские, Базаровы, Верховенские...

Пусть социологи об'ясняют нам закономерность этих фактов, а мы в данном случае ограничим свое задание психологией этого романтического мстителя за порабощенный народ.

Каховский не печатал стихов, как Рылеев, и повестей, как Марлинский, но он был неравнодушен к литературе. Мы знаем, что он знал наизусть немало строф из Жуковского, Пушкина и прочих современников; в его письмах и в его показаниях Верховной Следственной Комиссии есть свой стиль, свой язык, своя интонация: в его литературных приемах сказался дух романтизма... Но Каховский не был литератором. Ему снились романтические сны, но он мечтал воплотить их в жизнь, а не в роман, не в повесть, не в поэму. Кинжал для него был не только эмблемою—

Свободы тайный страж, карающий кинжал
Последний судия позора и обиды...

Кинжал для Каховского был реальное орудие справедливого возмездия. Заговорщик и мятежник, он поверил в этот карающий кинжал со всею беззаветностью и наивностью человека, утратившего связь с органическою целиною жизни. Он был духовным *скитальцем*, одним из тех заблудившихся в топях и дебрях родины, о которых так убедительно и страстно говорил Достоевский в своей знаменитой «Пушкинской» речи. Таким скитальцем представляется

нам Каховский, когда мы внимательно всматриваемся в его лицо, в его жизнь. Правда, из его биографии нам теперь хорошо известны всего лишь две главы, два жизненных эпизода, но за то как выразительны эти главы! Первая глава—любовь; вторая—смерть... Вторая глава в самом деле посвящена смерти, ибо, если иные заговорщики не всегда считали себя обреченными и не всегда посягали на жизнь царя, если они мечтали даже иногда о каком-то мирном договоре с правительством, то у Каховского таких иллюзий не было. У него была совсем иная мечта—мечта о смерти и возмездии. И его ближайший друг, Рылеев, не случайно сказал ему, обнимая: «Любезный друг, ты сир на сей земле; ты должен собою жертвовать для общества; убей завтра императора»... И потом, как будто совершая какой-то обряд, Каховского поочередно обнимали Бестужев, Пущин, Оболенский... Это они прощались с ним, обреченным уже тогда на виселицу. «Ты сир на сей земле... Убей...»

Иногда в душе Каховского возникало несогласие и даже возмущение против этого как будто навязанного ему долга. Почему, в самом деле, именно на его долю выпало это странное обязательство—убить и сложить свою голову на эшафоте? На этот вопрос никто, вероятно, не ответит, однако, и сам Каховский, и все окружающие его люди не сомневались, что такова судьба этого «сирого на сей земле» человека.

Кажется, среди декабристов не было ни одного в такой мере одинокого, «сирого», никому ненужного человека, как Каховский. Впрочем, этот никому ненужный человек оказался весьма нужным Обществу. Удивительна та наивная жестокость, с какою Рылеев обрекал на гибель Каховского. Удивительна и та небрежность, с какою товарищи по заговору относились к этому обреченному человеку. По-видимому, никто не интересовался не только тем, что творилось в душе

этого «Занда», но и тем, как сложилась его внешняя жизнь. И если бы не открытая теперь Б. Л. Модзалевским в переписке двух девушек история его любви, мы могли бы изложить биографию Каховского на одной странице. Петр Григорьевич Каховский родился в 1797 году в семье мелкопоместного дворянина. После смерти родителей ему с братом досталось тридцать душ крестьян в Смоленском уезде, Смоленской губернии. Кажется, это было его единственное достояние, да и то мнимое, ибо на имении лежал партикулярный долг. Но в формулярном списке 1821-го года Каховский числился из дворян Московской губернии, в коей за ним состоит 230 душ крестьян. Во всяком случае в 1826 году этого поместья у Каховского уже не было. Он был совершенно нищ. Воспитывался он в Московском университетском пансионе. Мы ничего не знаем о том, как он там учился. От его юношеских лет уцелел один лишь анекдот, правда, не совсем безразличный. Н. И. Греч сохранил в своих воспоминаниях этот рассказ о мальчике Каховском: «Он был в каком-то пансионе (должно быть, университетском) в Москве в 1812 году, когда вступили туда французы. Пансион разбежался, и Каховский остался где-то на квартире. В этом доме поселились французские офицеры и с мальчиком ходили на добычу. Однажды приобрели они несколько склянок варенья. Должно было откупорить. За это взялся Каховский, но как-то неосторожно засунул палец в горлышко склянки и не мог его вытащить. Французы смеялись и спрашивали, как он освободит свой палец. А вот как!—сказал мальчик и, размахнувшись, разбил склянку об голову одного француза. Его приколотили за эту дерзость и выгнали»... Кроме этого анекдота об отроческих годах Каховского мы не знаем пока ничего. Каковы были его родители? Когда они умерли? Как он учился? В формуляре Каховского сказано. «По-русски, по-немецки и французски читать, пи-

сать и говорить умеет, историю, географию и арифметику знает». Из показаний самого Каховского видно, что он с детства интересовался историей, а впоследствии занимался науками экономическими и политическими. В 1816 году он уже поручик Астраханского Кирассирского полка. Но его карьера не была вполне благополучна, и он не раз подвергался штрафам, по повелению вел. кн. Константина Павловича. Весною 1821 года Каховский вышел в отставку. В 1823 и в 1824 г.г. он был за границею, где именно и при каких обстоятельствах, нам неизвестно. В августе 1824 года, он познакомился с Софьей Михайловной Салтыковой, будущею женою поэта Дельвига, и влюбился в нее. Эта встреча произошла в Смоленской губернии в Крашневе, имении П. П. Пассека, члена Северного Тайного Общества, который был женат на Н. И. Олениной, двоюродной сестре П. Г. Каховского. В Петербурге Каховский появился в 1825 году и, кажется, готовился ехать в Грецию, чтобы принять участие в борьбе за освобождение греков. Но обстоятельства сложились иначе. Он сблизился с Рылеевым и сделался членом Северного Общества. Верховная Следственная Комиссия после 14-го декабря пред'явила ему обвинение в том, что он «умышлял на цареубийство и истребление всей императорской фамилии и, быв предназначен посягнуть на жизнь ныне царствующего государя императора, не отрекся от сего избрания и даже изъявил согласие на то, хотя уверяет, что впоследствии поколебался; участвовал в распространении бунта привлечением многих членов, лично действовал в мятеже, возбуждал многих членов и сам нанес смертельный удар графу Милорадовичу и полковнику Стюрлеру и ранил свитского офицера».

13 июля 1826 года, Каховский был повешен на валу Кронверкской куртины Петропавловской крепости.

I.

Осенью 1824 года, в Крашневе, в Смоленском поместье Петра Петровича Пассека ждали гостей. Сам хозяин, однако, по рассеянности ему свойственной перепутал числа, не выслал во время лошадей и гости приехали с ближайшей станции на обывательских, так-что хозяину Крашнева пришлось долго извиняться и об'яснять причину такой несчастной случайности. К Петру Петровичу приехал в гости единоутробный его брат Михаил Александрович Салтыков, человек уже пожилой (ему тогда было пятьдесят семь лет) и его восемнадцатилетняя дочь, Софья Михайловна.

В Крашневе был большой сад с беседками, киосками, мостиками, цветниками и теплицами. Жизнь была на широкую ногу. Быт был затейливый — странное сочетание барских прихотей и капризов с европейским вкусом, грубоватых нравов с обширною библиотекою, где, конечно, преобладали Вольтер, Руссо, Дидро, Монтескье и всякие модные, тогда политические мыслители второго сорта, вроде Детю-де-Траси. Рядом с Корнелем и Расином стояли на полках Парни и Флорианы. Тридцать крестьянских мальчиков обучались в Ланкастерской школе, дабы и в Российском государстве были кадры просвещенных ситуайенов. Сам отставной генерал Пассек недавно возвратился из-за границы и «жестоко порицал все мерзости, встречавшиеся на всяком шагу в России, в том числе и крепостное состояние». Это не мешало ему, однако, обращаться со своею женою весьма деспотически так же, как его просвещенный европеизм не служил помехою, когда этому барину хотелось потешиться на счет своих подданных. Англичанину Макгрегору, бывшему своему учителю, подсыпал он сахару в солонку, и весело смеялся, когда старик ел щи, недоумевая. Бывали шутки и другого рода,

и остроумие генерала устремлялось в другую сторону. «Дядя человек умный, это правда,—писала подруге его племянница,—но он употребляет свой ум на то, чтобы насмехаться надо всем, что есть святого, не говорю уже о лицах, но и над самим Иисусом Христом; наиболее частым предметом его строт является евангелие. То, что, как ты слышала, говорят про папа, ничто по сравнению с тем, что говорит мой дядя»... «Он не довольствуется тем, что себе самому делает зло, поворачивая в смешную сторону религию, но хочет того же и моей бедной тетушке, насмехаясь над нею ежеминутно. Она сносит это с редкою незлобивостью»... «У нее есть брат, которого она нежно любит и, который пользуется полным ее доверием. Дядя не пропускает случая, чтобы поиздеваться и над ним,—он говорит, что тот расстроен в уме, и, что тетушка тоже становится такою»... «А между тем, это—особа, нелишенная ума; она очень рассудительна; я никогда не слышала от нее чего-нибудь, что давало бы повод к насмешкам»..

Вместе с тем Пассек был политический вольнодумец. Якушкин принял его в члены Тайного Общества и, если бы генерал не помер в апреле 1825 года, пришлось бы ему предстать пред лицом Николая и возможно, что он утратил бы свою веселость.

Петра Петровича Пассека охотно навещали члены Тайных Обществ. У него бывали Якушкин, Фонвизин, Кюхельбекер, Повало-Швейковский и, наконец, герой настоящего очерка, Петр Григорьевич Каховский. Крашнево вообще было одним из тогдашних либеральных гнезд. Михаил Александрович Салтыков был подходящим человеком для этого общества. Это был тот самый Салтыков, которого чтил Пушкин. Поэт познакомился с ним в «Арзамасе», где этот «природный член» и «почетный гусь» занимал не последнее место. Когда Дельвиг был женихом его дочери, Пушкин писал своему другу: «Целую руку

твоей невесты и заочно люблю ее, как дочь Салтыкова и жену Дельвига»... В другом письме к тому же Дельвигу поэт называет Салтыкова «умнейшим Аристархом». Д. Н. Свербеев в своих записках делится своими воспоминаниями о встрече с Салтыковым в Париже. По его словам, Салтыков был замечателен своим умом и основательным образованием. «Не бывав никогда за границей до шестидесяти лет, он превосходно владел французским языком, усвоил себе всех французских классиков, публицистов и философов, сам разделял мнения энциклопедистов, и приехав в первый раз в Париж, по книгам и его планам, так уже знал все подробности этого города, что изумлял этим французов. Салтыков, одним словом, был типом знатного и просвещенного русского, образовавшегося на французской литературе, с тем различием, что он превосходно знал русский язык». Отдав дань добродетелям Салтыкова, Свербеев рассказал о нем несколько анекдотов, свидетельствующих, во-первых, об его безбожии и насмешливом скептицизме, и, во-вторых, об его чрезвычайной скаредности, соединенной, однако, с желанием вести жизнь, соответствующую дворянскому чванству, характерному для его времени.

Вот люди, вот среда, в которой Каховскому пришлось встретить девушку, пленившую его сердце. Это была дочь Салтыкова, Софи.

Ученица Плетнева, неглупая и достаточно образованная, с характером живым и остроумным и, по свидетельству современников, миловидная, она естественно могла привлечь к себе внимание Каховского, который был на уровне той же культуры и также обладал страстным сердцем и живым умом. И вот мы теперь можем воскресить в нашем воображении любовную историю одного из романтиков нашей ранней революции.

Второго августа 1824 года в девять часов вечера приехал в Крашнево из Смоленска Петр Григорьевич Каховский. Восемнадцатилетняя Софья Михайловна Салтыкова тотчас же в него влюбилась. Молодые люди в первые же дни почувствовали взаимное доверие и, кажется, не совсем осторожно трунили и смеялись над какими-то провинциалками, также посетившими тогда Крашнево. Эти гости, были по их мнению, жеманные чудачки и примасницы, при чем одна из них обладала наружностью «облезлой мыши». Все это давало повод Каховскому и Софье Михайловне удаляться от общества, «чтобы посмеяться», и, таким образом, молодые люди оказывались с глазу на глаз. Софи Салтыкова под впечатлением своего нового знакомства писала подруге. «Ах, дорогой друг, что за человек! Сколько ума, сколько воображения в этой молодой голове. Сколько чувства, какое величие души, какая откровенность. Сердце его чисто, как кристалл!—в нем можно легко читать, и его уже знаешь, повидав лишь два или три раза. Он также очень образован, очень хорошо воспитан, и хотя никогда не говорит по-французски, однако, знает этот язык, читает на нем; но не любит его так, как любит русский язык; это меня восхитило, когда он мне сказал об этом. Русская литература составляет его отраду; у него удивительная память,—я не могу сказать тебе, сколько стихов он мне продекламировал!—и с каким изяществом, с каким чувством он их говорит. Пушкин и в особенности его «Кавказский пленник» нравится ему невыразимо; он знает его лично и говорил мне много стихов, которые не напечатаны и которые он сообщал только своим друзьям»... «Он говорит, что ему мало вселенной, что ему все тесно, и что он уже был влюблен с семи лет: теперь ты его знаешь».

Беседы молодых людей день ото дня становились все более продолжительными и откровенными; за

столом, украдкою, они бросали друг другу взгляды и при этом оба краснели; вечером, когда все расходились, часть пути им приходилось делать вместе, потому что флигель, где ночевал Каховской, был по соседству с флигелем, где жили Салтыковы. Отец Софии Михайловны уходил к себе до ужина и влюбленные шли вдвоем, при свете луны, очень смущенные, не зная, что говорить. Иногда Каховский бродил по саду рано утром в надежде встретить Софью Михайловну, но она с некоторых пор боязливо избегала этой встречи.

Однажды Софи сказала Каховскому, что у него слишком пылкое воображение, что это ужасно, что это путает ее, и она его боится. Каховский ответил, что у нее воображение не менее пылко и что он в этом не сомневается.

Пятнадцатого августа Софи со своей тетушкой отправилась в деревню к какому-то крестьянину поесть у него меду. Об этой прогулке Софья Михайловна рассказывает в письме к своей подруге: «Пьер попросил у тети позволение сопровождать нас, чтобы оберегать, как он говорил, от крестьянских собак, которые могут нас обидеть. Получив позволение, он пришел к нам весь сияющий и предложил нам сопровождать нас; ты можешь себе представить, что я приняла его благосклонно, и мы отправились в поход — всего втроем. Тогда-то он стал говорить нежные стихи в изобилии, смотря на меня выразительно и в то же время застенчиво. Он картавит, что придает ему еще больше прелести; когда он сказал:

Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость,—

он сделал такое замечание: «Как Пушкин хорошо знал сердце женщины: обманывай, но не разочаровывай». В этой фразе много р,—и от этого он произнес ее восхитительно»...

Софи, тетушка и Пьер вошли в избу, где крестьянка угостила их сливками и медом. На обратном пути Каховский сказал по-французски длинную цитату из письма Абеляра к Элоизе.

«Я просила его перестать,—пишет Софья Михайловна,—потому что мне запрещали даже открывать эту книгу, —а, если вы мне будете ее цитировать целиком на память,—это будет все равно, что я ее прочла»,—истинная же причина была та, что все это относилось ко мне, и это меня крайне смущало. Тогда он спросил меня, знаю ли я стихи Дмитриева, которые он сейчас и сказал, но которых я не помню, кроме одного стиха, повторенного им много раз, при чем он в упор смотрел на меня: «Без умысла пленяешь ты»... Я не знала, что сказать»...

Софья Михайловна в своих письмах добросовестно и подробно передает весь этот любовный лепет юного романтика.

«Вы так хорошо чувствуете красоты Жуковского, Пушкина! — говорил Каховский Софье Михайловне.—Ах, я бы желал, чтобы вы прочитали Абеляра и Элоизу. Вот, где чувства сильны и хорошо описаны. Если вам позволили читать «Кавказского пленника», то можно дать вам и это». Тогда восемнадцатилетняя красавица призналась, что, если бы даже ей запретили прочесть поэму Пушкина, все-таки она бы ее прочла: таково ее пристрастие к поэту. И Каховский пробормотал с завистью: «Как он счастлив»... У влюбленных то и дело происходят сантиментальные диалоги. Случайная разлука на несколько часов была причиной горьких слез очарованной Софьи Михайловны.

«Наконец, он вернулся,—пишет она подруге: — Мы провели остаток вечера вместе очень приятно, я ушла позже, чем обыкновенно, не могла заснуть до 4-х часов утра: я была в восторженном настроении, как пьяная; я видела во сне Пьера и проснулась

еще более безумно влюбленная в него. Это было 17-го августа, в воскресенье,—чудесный день. Мы отправились втроем на прогулку, еще более продолжительную, чем первая, мы сделали восемь верст,—так что у него было время, чтобы сделать мне полупризнание в своей любви, - а полупризнания еще более приятны, чем полные... Однако, я притворилась, что не поняла его. Он говорил мне в тот день множество стихов, я помогала ему, когда он что-либо забывал, говоря:

«Непостижимой, чудной силой.
Я вся к тебе привлечена»—

Я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я выпила из рассеянности и если-б сказала то, что думала в тот момент, я погибла бы. Вот что это было:

«Люблю тебя, Каховский, милый,
Душа тобой упоена»...

К счастью, я выговорила «пленник»; но, как сказала, мне потом Катерина Петровна, я произнесла эти слова с такою выразительностью (чего я сама не заметила), что я не удивляюсь тому, что он тотчас сказал с сияющим видом и радостно:

«Надежда, ты моя богиня,
Надежда, луч души моей».

«Я видела, что все это клонится к тому, чтобы подготовить меня к признанию в любви»,—заключает Софья Михайловна.

В самом деле Каховский скоро заговорил более определенным и твердым языком. Надо было добиться от отца согласия на его брак с Софьей Михайловной. Это, однако, было не так просто и легко. Скупого и рассудительного Салтыкова вовсе не соблазняла мысль выдать замуж дочь за совершенно нищего и слишком романтически настроенного молодого человека.

Восемнадцатого августа Салтыков предложил утром совершить прогулку верхом. Кавалькада состояла из Катерины Петровны, самого Салтыкова, Софи, Пьера и двух конюхов. Пьер ехал около Софьи Михайловны. Молодые люди иногда пускали лошадей вскачь, иногда ехали шагом, отставая. Разговор продолжался все на ту же тему. И Софи волновалась. Вечером они встретились в саду, наедине. Каховский признался в любви.

«Ты можешь понять мое смущение! — писала Софья Михайловна подруге:—По счастью, на мне была шляпа, которая скрывала то краску, то бледность на моем лице. Я протянула Пьеру свою дрожащую руку, он прижал ее к своим губам и покрыл ее радостными слезами; я сама плакала, но от волнения. После нескольких мгновений молчания, он сказал мне:

— Что нам делать? Думаете ли вы, что вас отдадут за меня?

Я.—Мне кажется, что отец мой вас очень любит.

Он.—Но я не богат, не знатен.

Я.—Это ничего не значит.

Он.—Как я буду говорить с ним? Как начать? Дайте совет.

Я.—Советую вам прежде всего потоворить с дядюшкой, а я все скажу тетушке.

Он.—Ради Бога, не откладывайте, говорите сейчас.

Я.—Хорошо, только оставьте меня,—нас могут встретить»...

«Он не выпускал мою руку, которую держал крепко. Я могла бы тогда применить к себе те стихи, которые я слышала от него так часто:

Бледна, как тень, она дрожала,
В руках любовника лежала
Ее холодная рука...

Наконец, мы оставили друг друга»...

Об'яснения с тетушкой и дядюшкой не привели ни к чему. Петр Петрович Пассек был смущен, главным образом, тем, что вся эта неприличная история случилась у него в Крашневе. Однако, мольбы племянницы подействовали, и Петр Петрович обещал поговорить с братом. На другой день, ранним утром, Петр Петрович отправился во флитель, где жил Салтыков. Но едва он с величайшей осторожностью, прислушил к разговору, при первом же намеке Салтыков вскричал: «Они убьют меня».—Вольтерьянца схватили спазмы, продолжавшиеся два часа. Оба вольнодумца, дядюшка и отец, были в неописуемом ужасе от такого возможного мезальянса.

Софья Михайловна во всем давала подробный отчет своей подруге: «Тогда Пьеру об'явили о том,—пишет она,—что произошло, затем услали его и разыскали меня. Я плакала, просила,—меня бранили, говорили, что я убью отца. Дядюшка до такой степени разгорячился, что наговорил мне весьма жестоких вещей. Я рыдала, тетушка также плакала... Наконец, дядюшка успокаивается, даже просит у меня прощения, раскаивается, что оскорбил меня, и обещает мне еще поговорить с моим отцом. Последний просыпается, меня отсылают прочь, спрашивают его решительного мнения, он произносит страшным голосом «нет!» и умоляет тетю и дядю не говорить мне, что он знает о том, что произошло, чтобы ему не нужно было говорить со мною»...

Каховский должен был покинуть Крашнево. Уезжая, он передал своей возлюбленной через ее тетушку записку:

«Ваша репутация, от которой, полагаю, зависит все счастие жизни вашей, может ли быть не дорога мне. Прошу вас, Софья Михайловна, все сказать Петру Петровичу; вы знаете его, я с ним совершенно искренен. Надобно решиться, чтобы успокоить его; ради бога решите судьбу мою. От вас все зависит, го-

ворите с батюшкой; неужели вы с тем сказали мне люблю, чтобы сделать меня несчастным. Отвечайте мне, прошу вас, и не сомневайтесь во мне».

Из Смоленска Софья Михайловна получила второе письмо от Каховского: «Употребляю все способы пробыть в Крашневе, чтобы еще видеть вас, но все напрасно; читал записку вашего батюшки к Петру Петровичу: он жесток против меня. Говорили ли вы с ними? Бога ради, скажите, что он сказал вам. Есть ли какая надежда? Что должен делать я? Отвечайте, заклинаю вас. Можете ли опасаться меня, я дышу вами, не могу выразить, что чувствую, как терзаюсь, расставшись с вами, и так неожиданно. Ехать ли мне в Петербург? Писать ли к брату вашему, просить ли его, чтобы он помог нам? Неужели все погибло для меня? Вы еще можете быть счастливы, но я,—где найду ту точку земли, где бы мог забыть, не любить вас! Ее нет для меня во вселенной; верьте, бури глас не в силах выразить мук моих. Софья Михайловна! Я не казался против вас иначе, как я есть, вы должны знать меня, я уверен в вас, вы не захотите играть мною, я много уважаю вас, чтобы мог это думать. Пишите ко мне, скажите, как, на кого писать мне к вам в Петербурге; дайте совет мне, что должен я предпринять. От вас все зависит, вы можете убедить вашего батюшку. Скажите, могу ли положиться на вашу девушку, могу ли отдать ей к вам письмо в Смоленск. Прощайте, друг, бог, жизнь моя; если любите меня, пишите все, что произошло без меня, что говорил с вами П. П., Наталья Ивановна. Катерина Петровна перешлет или передаст мне письмо ваше, отвечайте скорее, молчание ваше убьет меня. Прощайте, и за пределом гроба, если не умирает душа, я ваш... 21 августа».

Софье Михайловне не удалось послать письма Каховскому, но 26-го августа она снова получила от него письмо.

«К чему могу приписать молчание ваше, несравненная Софья Михайловна?—писал Каховский: — Можно ли тому не верить, кого любишь. Я болен, скажите, если вы шутили надо мною. Мне легче прервать несносную нить жизни: заклинаю вас счастием, всем вам священным. Отвечайте. Что делается в душе моей, я не умею сказать; докончите все, дайте вдруг удар; смерть без вас мне благо: она прекратит мои страдания. Простите, если я вас оскорбляю. Ваше молчание остановит биение моего сердца: по крайней мере, тогда все узнаете, сколько я любил вас. От вас все зависит. Могу ли верить, чтобы вы не могли убедить вашего батюшку. Самого, бога ради отвечайте, 25-го августа».

И на это письмо Софья Михайловна не ответила Каховскому, хотя все еще считала себя влюбленной и, проливая слезы, подолгу сидела в той аллее, где он об'яснялся ей в любви.

10-го сентября Салтыковы покинули Крашнево. Напрасно Софья Михайловна надеялась на встречу с Каховским в Смоленске. Вместо предполагавшегося двухнедельного отдыха, Салтыковы спешно, переночевав, отправились дальше, при чем на ночь «дядя, для большей осторожности, велел закрыть в'ездные ворота». Эти меры, принятые предусмотрительным Петром Петровичем, были не лишними, как это видно из последующих событий.

Переписка Софьи Михайловны с подругою продолжалась и позднее. Героиня нашего романа сначала, повидимому, продолжала мечтать о своем Пьере, но жизнь шла своим чередом: страшное наводнение 7-го ноября, литературные новости, встречи со знакомыми—все это развлекало восемнадцатилетнюю красавицу, да и в характере ее, как это видно из ее биографии, не было нравственной строгости и твердости. Однако, время от времени она вспоминает о Каховском и цитирует, вздыхая, Пушкина:

Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор...

Но потом она раскаивается в том, что возвращается к своим романтическим мечтам и обращается к религии в надежде в ней найти опору и утешение. Она даже в письме к подруге изрекает такую сентенцию: «Любовь представляется болезнью неизлечимою только в романах, на самом же деле вовсе не то: только дружба, любовь к богу, к отцу и матери—чувства, истинно прочные и к тому же никогда не оставляющие пустоты в душе нашей».

II.

В среду, седьмого января 1825 года, в девять часов вечера, к дому Салтыковых в Петербурге подошел человек большого роста, брюнет, закутанный в плащ, и обратился к слуге, стоявшему у ворот, с вопросом, дома ли «молодой барин», Михаил Михайлович, брат Софи. Слуга ответил, что молодого барина нет дома. Тогда незнакомец назвался капитаном Воецким и просил слугу передать Михаилу Михайловичу, что он, Воецкий, будет ждать его в трактире «Лондон», в таком-то нумере на другой день утром... Слуга добросовестно исполнил поручение, хотя и обратил внимание на то, что незнакомец вовсе не похож на известного ему капитана Воецкого.

Мишель Салтыков отправился на другой день к своему приятелю Воецкому в трактир «Лондон» и вошел в указанный нумер, не подозревая интриги. В комнате был незнакомец, который тотчас же признался, что он м н и м ы й Воецкий. Это был, конечно, Каховский, который решил при помощи брата своей возлюбленной добиваться ее руки. И надо отдать справедливость герою романа: он воспользовался приемами, достаточно романтическими, и сыграл роль не хуже любого из героев Марлинского.

Мишель Салтыков был тронут патетической речью Каховского. У влюбленного был несчастный и отчаянный вид. Однако, посоветовавшись с сестрою, молодой Салтыков решил отклонить настойчивые притязания «сумасброда». Повидимому, Софья Михайловна успела охладеть к юному романтику. В ее письмах к подруге уже промелькнуло другое имя. Но нам интересен Каховский, а не эта легкомысленная прелестница. Он был настойчив, и Мишель снова пошел к нему на свидание. «Он нашел влюбленного поверженного в совершенное уныние, похудевшего,— одним словом, как мертвеца; тот сказал ему, что не сомкнул глаз всю ночь, думая о том, что он должен предпринять и что решил, после того, как получит место, больше не говорить с моим отцом, так как это было бы бесполезно, а прибегнуть к другому способу для достижения желаемого».

Каховский расчитывал занять в Одессе то самое место, которое занимал при Воронцове Пушкин. Надо было тайно увезти Софью Михайловну, тайно повенчаться и уехать с нею на юг. Тщетно Мишель старался отрезвить Каховского. Опьяненный своим романтическим планом, он не мог примириться с своею судьбою. Он требовал, чтобы Мишель передал об этом плане сестре.

«Узнав об этом,—пишет Софья Михайловна,—не могу сказать тебе, что я чувствовала,—но ты можешь себе это представить. Я должна была выдержать страшную борьбу. Сознаюсь тебе, что один момент я была совсем готова уступить желанию принадлежать Пьеру, но мысль о горе, которое это причинило бы папа, к счастью меня удержала. Мишель также побуждал меня отказать, и после многих терзаний и волнений, я приняла последнее решение»...

Софья Михайловна написала своему претенденту холодное письмо с отказом. В ответ от него было получено следующее послание: «Жестоко! Вы желас-

те мне счастия—где оно без вас? Вам легче убить меня—я не живу ни минуты, если вы мне откажете! Я не умею найти слов уговорить вас; прошу, умоляю, решитесь! Чем хотите вы заплатить за любовь мою? Простите, я вас упрекаю, заклинаю вас, решитесь, или отвечайте—и нет меня! Одно из двух: или смерть, или я счастлив вами; но пережить я не умею. Ради бога, отвечайте, не мучьте меня, мне легче умереть, чем жить для страдания. Ах! Того ли я ожидал. Не будете отвечать сегодня, я не живу завтра—но ваш я буду и за гробом».

«Что касается меня,—пишет подруге Софья Михайловна,—то скажу тебе, к большой моей радости, что, хорошенько испытав мое сердце, я нашла, что в нем не осталось уже ни одной искры любви к Пьеру Каховскому. Его приезд сюда вызвал во мне страшное волнение, но никакого другого чувства не вызвал: могу сказать это смело и очень этим довольна».

Каховский, однако, продолжал посылать письма Софье Михайловне и даже прислал ее отцу какой-то большой пакет. Она возвращала эти письма, не распечатывая. Она также сказала слуге Нениле, чтобы он не принимал Каховского, если он попытается проникнуть к отцу или к ней. Действуя так решительно, она не забывает поэзии и цитирует стихи Боратынского, которые она считала подходящими к своему настроению—«Не искушай меня без нужды»...

Я сплю; мне сладко усыпленье;
Забудь бывалые мечты:
В душе моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты.

Но противоречива человеческая душа. Прошли дни, недели,—и опять в сердце Софьи Михайловны пробудилось чувство к отвергнутому любовнику.

«Ты будешь удивлена моими противоречиями, моими странностями,—пишет она 28-го февраля сво-

ей подруге—я сама им дивлюсь, но от этого не менее верно, что,—поверишь ли?—что я сама не узнаю себя, что я не безразлично отношусь к Пьеру... Да, я люблю его, я не хотела себе в этом сознаться, но я не могу больше скрывать этого от себя; я перечитываю его письма, я повторяю в уме все, что он мне говорил, все обстоятельство, все подробности моих приключений: затем я вспоминало, что он тут, что его, быть может, увижу,—и вижу, что я сама ошиблась, что хотела уверить себя в том, что я вылечилась, не вылечившись в действительности»...

Софья Михайловна была очень смущена и огорчена, когда до нее дошли слухи о каких-то поступках Каховского, которые могли его компрометировать. Неужели он негодяй? Неужели она, Софья Михайловна, ошиблась в своем представлении об этом человеке? Она вовсе теперь не уверена в нравственных качествах своего героя. Весною произошло сближение Софьи Михайловны с ее будущим мужем, поэтом Дельвигом. «Как я люблю его, Саша,—пишет она в начале июля,—это не пылкая страсть, какую я чувствовала к Каховскому, что привязывает меня к Дельвигу,—это чистая привязанность, спокойная, восхитительная,—что-то неземное»...

Когда Каховский писал ей, что он не переживет ее отказа, покончит с собою, Софья Михайловна и ее брат не поверили в угрозу этого «сумасброда», а, по мнению некоторых, и «бездельника». Но судьба этого «сумасброда» теперь известна, и, почем знать, не повлияла ли его личная жизненная драма на его решение пожертвовать собою... «Любезный, друг, ты сир на сей земле»... «Убей»... Ведь, если бы Софья Салтыкова не охладела к Каховскому и, повенчавшись тайно, уехала с ним на юг, этот романтик, быть может, не был бы «сирым», и Рылеев не решился бы, вероятно, толкнуть его на убийство... И Софья Михайловна после 13-го июля 1826 года была в немалом

смущении и смятении, несмотря на то, что ее сердце было занято иною любовью.

III.

Биограф Каховского называет своего героя романтиком, но мы знаем, как многообразен романтизм и какие иногда противоположные черты его характеризуют. К какой группе романтиков надо отнести Каховского? Где ключ к пониманию этой «сирой» души? В сущности—в этом надо признаться—мы скорее угадываем, чем точно знаем этот характер. Одно разительно: одиночество Каховского. Жизнь он прожил, никогда, кажется, никем не любимый, ибо влюбленность в него Софьи Михайловны Салтыковой не успела исцелить его души: слишком эта влюбленность была поверхностна, что и обнаружилось при первом же столкновении с жизнью, при первом же препятствии к сближению. Она даже как будто была рада, что внешние события помешали ей «отдать свое сердце» этому «сумасброду». И Каховский остался одиноким, как был.

И вот, когда этот отставной поручик появился в Петербурге, он ни с кем не сумел сблизиться по-настоящему—не сумел, а может быть и не захотел. Смутно слышали об его романтической истории, но и любовью Каховского никто не заинтересовался. Один из мемуаристов отмечает вскользь, что Каховский, дескать приехал в Петербург, чтобы жениться на богатой невесте, но домогательство его не увенчалось успехом и он окончательно запутался в своих денежных делах. У Каховского в самом деле не было вовсе денег. Повидимому, он на все махнул рукой и опустился. Жил он, занимая деньги, главным образом, у Рылеева. Сохранилось одно довольно мрачное письмо к нему Каховского. «Сделай милость, Кондратий Федорович, спаси меня. Я не имею сил более

терпеть всех неприятностей, которые ежедневно мне встречаются. Оставя скуку и неудовольствия, я не имею даже, чем утолить голод: вот со вторника до сих пор я ничего не ел. Мне мучительно говорить с тобой об этом, и тем более, что с тех пор я очень вижу твою сухость; одна только ужасная крайность вынуждает меня. Даю тебе честное слово, что по приезде моем в Смоленск употреблю все силы, как можно скорее выслать тебе деньги, и надеюсь, что, конечно, через три месяца заплачу тебе. Я не имею никаких способов здесь достать, а то ведь не стал бы тебе надоедать». Это было написано 6 ноября 1825 г. Кажется, из всех членов Тайного Общества, один только Каховский до такой степени был нищ.

Каховский был нищ не только материально, но и духовно—не в евангельском смысле, т.-е. не в том смысле, что он был «святой простец», а в том смысле, что ему нечего было сказать о себе и о своем. Мудрость говорит нам, что «нищие духом» блаженны. У Каховского не было надежды на блаженство. В душе его было пусто. Это была романтическая пустота, замаскированная, следовательно, превыспренними фразами, неопределенной мечтательностью, позою и жестом героя. Если романтический поэт может быть оправдан в известной мере его лирикою или иными поэтическими опытами, то чем оправдать бесплодную мечтательность отставного поручика, который лишен вовсе творческих сил.

У Каховского позы, жесты, слова — все чужое, заимствованное им из романов или из всем тогда памятного еще исторического спектакля, который был устроен французской буржуазией за тридцать лет до того, как он, Каховский, приехал в Петербург, с намерением или увезти тайно возлюбленную из теплого семейного гнезда, или выступить не менее романтично с кинжалом в руке, в качестве нового Брута. Не удалось увезти красавицу, за то удалось на Сенат-

ской площади убить Милорадовича, который оставался невредим во многих сражениях, командуя русскими полками. Потом он убил еще полковника и хотел убить, но не успел, только ранил, какого-то свитского офицера... А тиран остался жив. И, очевидно, дело было не в сознательной цели, поставленной себе, не во внутренней убежденности, что так надо, а в чем-то другом, в какой-то самолюбивой мечте. Каховский убил Милорадовича, потому что в это время на него смотрели те, которые ждали от него не то подвига, не то жертвы... Нужен был жест, чтобы зрители были не разочарованы.

Каковы были убеждения и взгляды Каховского на государство, общество, историю? В мыслях Каховского не было ничего оригинального, живого, органического. Он мыслил, не задумываясь нисколько над сущностью вопроса. Все было ясно и просто. Дестю-де-Траси, оказывается, раз'яснил недоразумения, которые томили человечество тысячелетия. Так мыслили многие современники Каховского. 24-го февраля 1826 года Каховский правдиво писал генералу Левашову, своему следователю: «Смело говорю, что из тысячи молодых людей не найдется ста человек, которые не пылали бы страстью к свободе». Каховский—один из тысяч—тоже пылал. «Рылеев был с ним знаком,—пишет в своих записках Е. П. Оболенский,—узнал его короче и, находя в нем душу пылкую, принял его в члены общества»... «Он видел в нем второго Занда»...

Пылкая душа требовала чего-то не совсем обыкновенного—хотя бы, например, счастия всего человечества или, по крайней мере, счастья родины. Но не было ни сил, ни дарований в соответствии с этим требованием, с этим притязанием. «Невзрачный с виду, с обыкновенным лицом и оттопырившейся губою, придавшею ему вид дерзости», Каховский вовсе не казался героем, а ему было тогда, в 1825 году, два-

дцать восемь лет, и он понимал, что наступил предел: надо немедля совершить подвиг, надо оправдать это свое притязание или раз навсегда отказаться от репутации героя. Такой отказ был мучителен для самолюбия: недаром, ведь, так дерзко оттопыривалась его губа... Но, кроме этой выразительной губы, не было ничего своеобразного в его наружности. Лицо у него самое обыкновенное.

В этом-то и была драма Каховского: самое обыкновенное лицо, а маска героя—Брута, Занда, Риего... Маска обязывала. Пришлось играть свою роль до конца. И вдруг с ужасом увидеть, что на подмостках жизни проливается небалаганный «клюквенный сок», а настоящая кровь. Напрасно биограф Каховского старается придать ему черты исключительной значительности. У Каховского не было такого острого ума, как у Пестеля, такого страстного сердца, как у Сергея Муравьева, такого лирического пафоса, как у Рылеева... Он был незначительный человек, и единственный демон, владевший им, демон самолюбия, был в совершенном несоответствии с его дарованиями. Если бы его личная жизнь сложилась более удачно, его самолюбивая бесталанность была менее заметна, но он был неудачником. Примириться с своими неудачами он не хотел. Он решил действовать по-геростратовски. При этом он любил рисоваться и больше всего дорожил позою и жестом. Так же, как он кокетничал с Софи Салтыковой, он кокетничал с заговорщиками, а потом, на следствии, с теми, кто его допрашивал. «Не о себе хочу говорить я, но о моем отечестве, которое, пока не остановится биение моего сердца, будет мне дороже всех благ мира и самого себя»... Этот приподнятый и несколько приторный стиль нельзя об'яснить только стилем эпохи, тою манерою выражаться, какою пользовались наши деды. Это был стиль самого Каховского. Это был типичный для него романтизм. И фразеология его была

целиком заимствована из романтически воспринятой революции 93 года. Он считал себя «патриотом» в якобинском смысле. «Я за первое благо считал не только жизнью, честью жертвовать пользе моего отечества. Умереть на плахе, быть растерзанным и умереть в самую минуту наслажденья, не все ли равно?»... «Увлеченный пламенною любовью к родине, страстью к свободе, я не видал преступления для блага общего. Для блага отечества я готов бы был и отца моего принести в жертву». Возможно, впрочем, что, чувствуя себя пленником тех несчастных жизненных условий, в которые кинула его судьба, Каховский с совершенной искренностью мечтал о свободе. «Общее благо» и его личная жизнь оказывались под одним знаком желанной и недостижимой свободы. «Свобода, сей светоч ума, теплотвор жизни, была всегда и везде достоянием народов, вышедших из глубского невежества. И мы не можем жить подобно предкам нашим ни варварами, ни рабами. Пока будут люди, будет и желание свободы. Свобода обольстительна: я, распаленный ею, увлек других».

Возможно, что свободолюбие Каховского было вполне искренно, однако, едва ли его представления о тогдашней действительности были точны и отвечали реальной правде. Когда читаешь в его показаниях идиллическое описание крестьянского быта, когда он рассказывает, как крестьяне в богатых поместьях «пользуются довольною свободою, хотя и зависят совершенно от владельцев своих», начинаешь сомневаться, в том, что Каховский в самом деле сознавал, что такое свобода. Каховскому казалось, что мирские сходы—парламенты «маленьких республик». Он смотрел на крестьянскую жизнь со стороны, как иностранец. Крестьяне для него «добрые землепашцы», театральные пейзане, а не наши реальные мужики.

Политические и социальные взгляды Каховского не были самостоятельны. Он разделял воззрения большинства членов Тайного Общества. В области хозяйственных отношений он повторяет мнение многих заговорщиков о нашей тяжелой налоговой системе, о вреде монополий, о низком уровне нашей промышленности, о дурном состоянии нашей внешней и внутренней торговли. Эти свои экономические и финансовые соображения Каховский излагает вяло, не слишком, повидимому, в них заинтересованный. За то в его посланиях политические темы обсуждаются патетически. Это наиболее удачные по стилю публицистические его опыты. Он излагает в них свои взгляды так, как будто расчитывает на широкий круг читателей, а не на двух своих ближайших следователей—императора Николая и генерала Левашова, к которым официально обращены его послания. Иногда его публицистика звучит убедительно и сильно. «Правительство, несогласное с желанием народа, всегда виновно; ибо в здравом смысле закон есть воля народная. Цари не признают сей воли, считают ее буйством, народы—своей вотчиной; стараются разорвать самые священные связи природы. Давно ли мы, русские, не смели написать и произнести слово «отечество». В царствование императора Павла I-го оно было запрещено; слово государство заменило его и полковник Тареев, не ведая запрещения, упомянув в одном письме к императору отечество, сидел за то в крепости».

«Я не думаю, чтобы и самые цари в глубине сердца своего не сознали себя виновными»... «Мы, русские, внутри своего государства кичимся, величая себя спасителями Европы. Иноземцы не так видят нас; они видят, что силы наши есть резерв деспотизму Священного Союза»... «Где же, кого спасли мы, кому принесли пользу? За что кровь наша упитала поля Европы? Может быть, мы принесли пользу самовла-

стью, но не благу народному. Нацию ненавидеть невозможно, и народы Европы нерусских не любят, но их правительство, которое вмешивается во все их дела и для пользы царей утесняет народы».

«Некоторое время император Александр казался народам Европы их миротворцем и благодетелем; но действия открыли намерения, и очарование исчезло. Опять золотые цепи, увитые лаврами, и тяжкие, ржавые, железные давят человечество».

«Некая тишина лежит теперь на пространстве твердой земли просвещенной Европы; но кто знает, чему она предвозвестница. Не гремит оружие, но умы действуют. Народы не пошатнулись, твердо идут вперед к просвещению, несмотря на все заклепы, жажда сведений распространяется и находит источник к утолению. Строгая цензура со всеми способами полиции и таможни никак и нигде не может остановить ни ввоза книг, ни внутренних сочинений. И стоит только такое сочинение запретить, то оно сделается для всех интересным и даже писанное разойдется по рукам. Во Франции запретится книга — и в самом скором времени в России она явится. Разумноженное шпионство доказывает лишь слабость правительств и, что они сами чувствуют, сколь они не правы перед народами. Посредством шпионства прекращаются ли толки и суждения?»...

IV.

«Человек, чем-то огорченный, одинокий, мрачный, готовый на обречение; одним словом Каховский. Он сам предложил себя на случай надобности в режициды». Это свидетельство декабриста Штейнгеля. В этом определении характера Каховского ключ к пониманию его роли в Тайном Обществе и в событии на Сенатской площади. Рылеев принял его в Общество в начале 1825 года и тогда же, кажется,

решил, что он самый подходящий «режицида», цареубийца, но он не сразу открыл свои мысли Каховскому. А тот, обреченный, нетерпеливо искал случая для исполнения тайно-задуманного. Ведь, он обещал Софи Салтыковой покончить с собою, если она не будет к нему благосклонна. Потом, повидимому, он решил, что самоубийственный план можно сочетать с некоторым подвигом. И он пламенно поверил в свою звезду, мечтая освободить отечество. Рылеев не совсем искренне и правдиво показывал 24 апреля 1826 года следующее: «В начале прошлого года Каховский входит ко мне и говорит:

— Послушай, Рылеев. Я пришел тебе сказать, что я решил убить царя. Об'яви об этом Думе. Пусть она назначит мне срок.

Я, в смятении вскочив с софы, на которой лежал, сказал ему:

— Что ты, сумасшедший! Ты верно хочешь погубить общество. И кто тебе сказал, что Дума одобрит такое злодеяние. За сим старался я отклонить его от его намерения, доказывая, сколь оно может быть пагубно для цели общества; но Каховский никакими моими доводами не убеждался и говорил, чтобы я насчет общества не беспокоился, что он никого не выдаст, что он решился и намерение свое исполнит непременно»...

Тогда, по словам Рылеева, он стал убеждать Каховского отказаться от цареубийства, потому что это погубило бы его, Рылеева, а, стало быть, и жену его, и дочь. И Каховский, будто бы, взволнованный, сказал:

— Ну, делать нечего. Ты убедил меня!

Рылеев излагает историю Каховского так: «Дай же мне честное слово,—продолжал я,—что ты не исполнишь своего намерения. Он мне дал оное. Но после сего разговора он часто стал задумываться; я охладел к нему; мы часто стали спорить друг

с другом и, наконец, в сентябре месяце он снова обратился к своему намерению и постоянно требовал, чтобы я его представил членам Думы. Я решительно отказал ему в том и сказал, что я жестоко ошибся в нем и раскаиваюсь, приняв его в общество. После сего мы расстались в сильном неудовольствии друг на друга. За сим узнал я, что его несколько дней не было в городе. Я спешил с ним увидеться, чтобы узнать, не ездил ли он в Царское Село, боясь, что не там ли он хочет исполнить свое предприятие, но подозрения мои оказались ложными. Он ездил в деревню, в которой была расположена рота Сутгофа. С самого того дня, как я узнал о намерении Каховского, я стал стараться о удалении его из Петербурга, и, наконец, советовал ему опять вступить в военную службу, представляя, что он в мундире полезнее будет обществу, нежели во фраке. Он согласился и подал прошение об определении его в какой-то пехотный полк, но ему отказали, потому что он служил в кавалерии. Я склонял его вступить в прежний полк, но как он уже совершенно обмундировался в пехоту, то и стал снова домогаться об определении в оную. Между тем при свиданиях, мы продолжали спорить и даже ссориться. И, наконец, видя его непреклонность, я сказал однажды ему, чтобы он успокоился, что я извещу Думу о его намерении, и что, если общество решит начать действия свои покушением на жизнь государя, то никого, кроме его не употребит к тому. Он этим удовлетворился. Это происходило за месяц до кончины покойного государя».

Каховский дал показания несколько отличные от Рылеевских. Факты были те же и слова почти такие же, но за всем этим была иная психология.

«Обстоятельства мои не позволили мне надолго оставаться в Петербурге,—пишет Каховский,—брат мой уехал, и я вслед за ним хотел выехать. Переехал из трактира «Лондон», где я жил, в дом Энгель-

гардта, в Коломну, и в продолжение двух или более недель не виделся с Рылеевым. За день перед от'ездом моим я пошел к нему проститься, и он об от'езде моем не знал»...

И вот где-то между Офицерскою и Мойкою они случайно встретились. Рылеев, узнав, что Каховский едет в Смоленск из-за того, что у него нет денег, тотчас же предложил ему взять у него, Рылеева, сколько нужно.

«К вечеру,—рассказывает Каховский, — просил меня зайти к нему, говоря, что ему нужно со мной переговорить: «и я думаю, я успею уломать тебя остаться здесь». Вечером пришел к нему; он стал мне говорить, что я необходимо нужен, что общество скоро начнет свое действие, и упрашивал меня остаться, говоря, что через меня соединяется лейб-гренадерский полк. На слова мои:—зачем я останусь, когда вы еще начнете действовать?—он поклялся мне, взглянув на образ, что непременно в 1826 году; что все почти готово, членов достаточно, что лишь остается приготовить солдат. Тут он мне сказал, что положено истребить царствующую фамилию или в маскараде на новый год, или на празднике в Петергофе. Он советовал мне вступить в службу в новгородское поселение, говоря, что обществу нужно там иметь людей надежных, и что я в несколько месяцев успел: там приготовить несколько к восстанию и, что мне в том там будут помощники. Я согласился с ним остаться в Петербурге, но в новгородское поселение итти служить не решился»...

«Рылеев, видя во мне страстную любовь к родине и свободе, пылкость и решительность характера, стал действовать так, чтобы приготовить меня быть кинжалом в руках его. Но он не умел себя хорошо вести и очень во мне ошибся. Я не буду говорить всего, как он мне представлял в пример Брута, даже Соловьева, который убил Батурина. Просто скажу вашему

превосходительству, что Рылеев потерял рассудок, склоняя меня. Он думал, что он очень тонок, но был так груб, что я не знаю, какой бы невежа его не понял».

Каховский, как справедливо отметил его биограф, был оскорблен Рылеевым. Он был дважды им оскорблен. Во-первых, Рылеев смотрел на него, как на слепое орудие, предназначенное судьбою, чтобы нанести смертельный удар царю, и при этом он хотел по возможности удалить его от общества, чтобы оставить вожаков движения незапятнанными; во-вторых, он оскорбил его позднее, уже на допросах, оговорив его, как будто он сам Рылеев, не замышлял использовать его для целей общества.

Каховский рассказывал, между прочим, о своей беседе с Александром Бестужевым. Бестужев сказал Каховскому:

«Представь, Рылеев воображает, что найдутся люди, которые не только решатся собою пожертвовать для цели общества, но и самую честь принесут для нее в жертву».

Оказывается, был такой проект: «Тем, которые решатся истребить царствующую фамилию, дадут все средства бежать из России, но если они попадутся, то должны показать, что не были в обществе, потому, что общество чрез то может пострадать. Цареубийство, для какой бы то цели ни было, всегда народу кажется преступлением»...

Бестужев сказал Каховскому:

— А Рылеев все толкует о тебе, что ты на все решишься...

Каховский отвечал:

— Напрасно сие говорит Рылеев; если он разумеет меня кинжалом, то пожалуйста скажи ему, чтобы он не укололся; я давно замечаю Рылеева: он только меня склоняет, но обманется. Я готов собою

пожертвовать отечеству, но ступенькой ему или другому к возвышению не лягу.

На другой день Каховский занемог и послал за Рылеевым, и когда тот пришел, Каховский рассказал ему свой разговор с Александром Бестужевым. Тогда между Рылеевым и Каховским произошла ссора. Каховский написал письмо Думе и вручил его Рылееву, но Рылеев сжег это послание и отказался представить Каховского членам Думы, как того требовал этот упрямый и мрачный «режицида».

Александр Бестужев открыл на допросах еще один замысел Рылеева, чрезвычайно характерный для конспирации заговорщиков. Если Каховский, нанеся смертельный удар царю, не спасется сам и не бежит за границу, то им, Каховским, надо пожертвовать: Временное Правительство должно судить его и покарать, как цареубийцу.

«Желая, как-нибудь, удалить Каховского, ибо я думал, что он мог бы на сие решиться,—рассказывает Бестужев,—я старался подстрекать его любопытство и, наконец, имел точно разговор, показанный Каховским, где тонко показал ему, что его хотят употребить низким орудием убийства. Это средство подействовало, Каховский рассердился и просил меня сказать Рылееву, что он не ступенька для их умников. Когда я рассказал Рылееву, он взбесился на меня, говоря, что я для того только, чтобы показать силу своего убеждения, порчу членов, и что я мог бы беречь такие мнения про себя. На что я и сказал, что я не обманщик и людей в западню ловить не хочу; надо, чтобы всякий вполне видел, что он делает»...

Честолюбец Каховский хотел не только пожертвовать собою, но и пожертвовать со славою, а честолюбец Рылеев хотел сохранить за собою положение привилегированного посредника между Думою и членами Тайного Общества. Но Дума была в сущно-

сти миф, ибо тогда всем заправлял один Рылеев. Это уже было все в духе «Бесов» Достоевского—и мнимый таинственный «центр», и ложь, и кровь...

V.

Пока был жив император Александр, заговорщики знали, где враг. Это был он, сын Павла, внук Екатерины, изменивший тем самым идеям, которые понудили его закрыть глаза на убийство царя и отца. Он сам, как будто подсказал членам Тайного Общества мысль о возможном цареубийстве ради «блага отечества». Теперь уже он, Александр, оказался в роли ненавистного тирана. У него теперь были совсем иные мысли и убеждения. В силу этих новых убеждений он решился уничтожить масонские ложи, но он был настолько уже посвящен в дела и замыслы масонов, что едва ли он мог надеяться на действительное поражение их идей и планов путем внешних репрессий. Александр, вероятно, не был удивлен, когда ему донесли о существовании Тайных Обществ, и не случайно он медлил принять против них решительные меры, страшась, быть может, возмездия. Тайные общества официально не были связаны с масоновским братством, однако, в них вошли многие «братья каменщики», а иные масоны косвенно влияли на заговорщиков. Для масонов не то было важно, что Александр медлил дать конституцию, а то, что он уклонился от признания за масонами их права на нравственное руководство государством. Тогда и было решено «истребить» царя, а потом и «весь царствующий дом». Правда, это решение не было, так сказать, программным, но таково было убеждение и вожделение самых главных деятелей Тайного Общества.

Началась лихорадка напряженных ожиданий, страстных споров, честолюбивых мечтаний, и вот сре-

ди этого взбаламученного общества оказался Каховский, отвергнутый любовник, бездомный и нищий скиталец, самолюбивый неудачник, вольнодумец по своим взглядам и романтик по своим вкусам. Конечно, это он, а не кто-либо иной, должен был взять на себя роль Завда.

Но смерть Александра спутала все планы и мнения. Пока император был жив, все было ясно. Его неожиданная смерть поставила заговорщиков перед неизвестностью, загадочною и темною. Кто император? Какой он? Еще более были смущены масоны, посвященные в сокровенный смысл заговора. Для них, впрочем, одно было ясно: Константин Павлович давно уже был введен в масонскую ложу и потому, с их точки зрения, он был более приемлем на престоле, чем Николай, хотя оба были невежественны и грубы, самонадеянны и жестоки. Путаница с завещанием Александра о престолонаследии создала политическую обстановку, исключительно благоприятную для мятежа.

Все противоречия, сомнения, личные счеты, честолюбивые надежды—все это сразу отошло на второй план, и вопрос Каховского приобрел реальный смысл и необычайную остроту.

До известия о смерти Александра Каховский, кандидат в гареубийцы, не принимал значительного участия в делах общества, отстраненный, как мы видели, Рылеевым, который «берег» его для своих особых целей. Однако, Каховский успел подготовить к мятежу лейб-гренадерский полк, приняв в общество офицеров—Сутгофа, Палицына, Панова, Кожевникова и Кребцова. В письме к Левашеву, Каховский откровенно заявляет: «Истинно говорю, я один причиною восстания лейб-гренадерского полка».

Этим, впрочем, и ограничилась деятельность Каховского в обществе. Он мало и редко говорил на собраниях. Обычно он сидел мрачный и безмолвный в

углу, когда другие шумели и спорили. Впрочем, время от времени он произносил какой-нибудь афоризм, удивляя собеседника крайними своими воззрениями и решительностью своих суждений. «С этими филантропами,—сказал он, однажды,—ничего не сделаешь; тут просто надобно резать»... Он, в иных случаях сантиментальный, никак не мог понять чувствительности князя Одоевского, который восклицал: «Умрем! Ах, как славно мы умрем!»

Но вот наступил канун восстания. Сам Каховский рассказывал об этом не следствии так: «13 декабря, ввечеру Рылеев сказал, когда я спрашивал его о распоряжении, что надо видеть прежде силы наши и что на Петровской площади всем распорядится Трубецкой. Предположено было занять Сенат, крепость, но кому именно, не было назначено. Мне же сказал он, обнимая меня:

— Знаю твое самоотвержение; ты можешь быть полезнее, чем на площади: «истреби императора»...

Каховский не отказывался, однако, выражал сомнение в удаче предприятия. Рылеев советовал ему надеть офицерский мундир и рано утром войти во дворец, а если это не удастся, ждать императора на площади и там убить его.

Повидимому, рассказ Каховского точен. Оболенский в своем показании повторяет этот рассказ почти в той же редакции: «При приезде моем, я застал Пущина, Каховского и, кажется, Александра Бестужева. Я спросил у Рылеева, какой же план действий, он об'явил мне, что Трубецкой нам сообщит, что собраться должно на площади всем с тою ротою, которая выйдет первая. После нескольких минут разговора, он и Пущин надели шинели, чтоб ехать. Я сам уже прощался с ними, когда Рылеев при самом расставании нашем подошел к Каховскому и, обняв его, сказал:

— Любезный друг, ты сир на сей земле; ты должен собою жертвовать для общества; убей завтра императора.

После сего обняли Каховского Бестужев, Пущин и я. На сие Каховский спросил нас, каким образом, сие сделать ему. Тогда я подал мысль надеть ему л.-гренадерский мундир и во дворце сие исполнить, но он нашел сие невозможным, ибо его в то же мгновение узнают. После сего предложил, не помню, кто из предстоящих, на крыльце дождаться проезда государя, но и сие было отринуто, как невозможное».

«Я сознаюсь,—прибавляет Оболенский,—что единая мысль о сем, есть уже преступление, но прошу комитет милостиво воззреть на людей, которые, расставаясь накануне того дня, который должен решить судьбу отечества или повергнуть их самих на последнюю степень бедствия, в исступлении чувства обращают мысль к поступку ужасному, но, опомнясь, оставляют оный».

А сам Каховский на одном из допросов показал: «Признаюсь откровенно, увлеченный бедствиями отечества и, может быть, заблуждаясь в цели и намерениях, я для общей пользы не видел преступления. Но соглашение Рылеева на убийство, мне показалось гадким, и при том я давно его подозревал в нечистоте правил»...

Однако, на допросе Каховский сказал самому царю, что, ежели бы он под'ехал к карре мятежников, он, Каховский, первый готов был в него выстрелить.

Кажется, в ночь с 13-го на 14-е декабря, Каховский вовсе не спал. Во всяком случае за эти ночные и ранние по утру часы он успел увидеть целый ряд лиц и побывать в лейб-гренадерском полку, в Московском и в казармах Гвардейского экипажа. Здесь, в этих казармах, Каховского постигла какая-то неудача. У него произошло столкновение с моряками и ему пришлось бежать, при чем с него сорвали шинель.

Как известно, первые инсургенты показались на Сенатской площади около одиннадцати часов утра: братья Бестужевы и кн. Щепин-Ростовский привели роты Московского полка. Перед фронтом мятежников расхаживал Каховский, с двумя заряженными пистолетами и кинжалом, ободряя солдат и крича неистово—«Ура! Константин!»... Он был весь, как тогда обыкновенно выражались, в «нервической лихорадке». В официальном сообщении было сказано, что на площади, кроме военных, были также «люди гнусного вида во фраках». Вот одним из этих штатских был Каховский, и как раз он из всех мятежников проявил наибольшую дерзость и решительность, как раз он стрелял в упор,—«мясничал», как он сам выразился.

Был одиннадцатый час, когда от дворца от'ехали парные сани и помчались к площади. В санях, в одном мундире, с голубою лентою, стоял Милорадович. Этот опытный воякa, занимавший тогда пост генерал-губернатора, в своей самонадеянности начальника и верноподданного не представлял себе создавшегося положения. Итак, он, обогнув в санях церковь, взял у какого-то офицера лошадь и верхом подскакал к мятежному карре. Он начал, было, уговаривать солдат принести присягу Николаю, уверяя, что такова была воля покойного царя, но его перебил кн. Оболенский, требуя, чтобы он от'ехал от фронта. Во время этого препирательства, Оболенский направил на лошадь Милорадовича штык и, кажется, нечаянно ранил самого графа. Его доканала пуля. Это выстрелил Каховский. Граф замотался, шляпа слетела с него, он припал к луке и в таком положении лошадь понесла его.

Второю жертвою Каховского был полковник Стюрлер. Он пришел на площадь вместе с своими лейб-гренадерами, не переставая их уговаривать вернуться в казармы и принести присягу Николаю. Едва он по-

ровнялся с Московцами, Каховский выстрелил в него и ранил смертельно.

Там же на площади, неизвестно при каких обстоятельствах, Каховский ранил кинжалом свитского офицера Гастефера. Потом он бросил пистолет на землю со словами: «уж будет с меня!»—А Одоевскому он тогда же сказал, что «ему гадко мясничать».

Когда митрополит Серафим явился на площадь и пытался говорить с мятежниками, его перебил Каховский.

Штейнгель показывал на следствии, что Каховский в ответ на речь Серафима будто бы сказал: «Полно, батюшка, не прежняя пора обманывать нас. Поди-ка, на свое место». Тогда митрополит сказал Каховскому: «Христианин ли ты? По крайней мере, поцелуй хоть крест»... Каховский перекрестился и поцеловал крест. А сам Каховский на допросе, не отрицал своего пререкания с митрополитом, уверяя только, что не произнес ничего обидного для святителя. Каховский будто бы сказал только Серафиму: «Вы так же можете быть обмануты, как и прочие».

«Митрополит,—рассказывает Каховский,—уверял крестом истину слов и, обратясь ко мне, сказал: «Поверь хоть ему!»—В то время я приложился ко кресту. Митрополит уговаривал не лить крови одноверцев, на что я отвечал: «Мы сами сего страшимся, но может быть, к тому вынуждены»...

Вечером в тот же день у Рылеева, Каховский показал свой окровавленный кинжал и сказал барону Штейнгелю: «Вы, полковник, спасетесь, а мы погибнем; возьмите этот кинжал на память обо мне и сохраните его».

Штейнгель взял этот странный и страшный подарок. В тот же вечер полиция искала Каховского у Вознесенского моста, в гостинице Неаполь, в доме Муссар. Каховский не ночевал дома. Его арестовали

15-го декабря и повезли в Зимний дворец, где его допрашивал сам император.

После ареста в душе у Каховского, что-то изменилось и поколебалось. Когда во дворце дежурный офицер вел его по зале и потом посадил за ширмы ждать своей очереди, Каховский живо представил себе,—и все в одно мгновение!—Крашнево, сад, где Софи Салтыкова лепетала слова любви в ответ на его признание, потом семейный скандал, свидание в столице с Мишелем Салтыковым и полное крушение надежд. Еще одно мгновение— и в душе Каховского возникла другая цепь видений.

Пронеслись, как во сне, лица Рылеева, Оболенского, Пущина, Одоевского, Трубецкого, Якубовича, — потом все смешалось; потом опять возникла, как в волшебном фонаре, петербургская ночь, набережная Мойки, дом у Синего моста, с выпуклою решеткою на окнах нижнего этажа... Наконец, приснилась Сенатская площадь, гигант на бронзовом коне, закутанный в зимний туман, как в сизый плащ; мелькнуло самодовольное упитанное лицо Милорадовича, взволнованное и злое лицо Стюрлера... Неужели он, Каховский, убил их? В душе у Каховского не было раскаяния, но было изумление. То, что недавно казалось необходимым и разумным, теперь стало непонятным и мучительным.

И сейчас ему предстояло встретиться лицом к лицу с императором Николаем. По его представлению, это был тиран. Верховная власть должна быть в руках достойнейшего, но этот великий князь Николай, а сегодня игрою случая, монарх, вовсе не похож на мудрого венценосца. Он ничем не занимался, кроме парадов и учений. Может быть, из него вышел бы недурной полковой командир, но он ничего не понимает в политике и, вероятно, никогда не читал Детю-де-Траси.

И вот перед ним император. Красивое, хорошо выбритое лицо, с капризно сложенными губами, с мягкими прядями волос на висках, с глазами, как будто добрыми, устремленными прямо на собеседника.

— Да он, пожалуй, добрый малый, этот Николай Павлович Романов. С ним, пожалуй, и поладить можно,—мелькнуло в голове у Каховского.

Начался допрос. Каховский, который мрачно молчал на собраниях у Рылеева, стал вдруг необыкновенно словоохотлив. Он с удивительною откровенностью стал излагать Николаю свои политические мнения и критиковать порядок, унаследованный от императора Александра. Николай Павлович терпеливо слушал длиннейшие тирады, где романтические мечтания чередовались с либеральными аксиомами, которые сыпались, как из рога изобилия. Реплики, которые подавал царь, ободряли Каховского. Когда речь зашла о свободе слова, печати, собраний и прочих прелестях, гарантирующих права человека, Николай Павлович сочувственно кивал головой, как бы не сомневаясь в этих истинах. Каховский увлекся почти так же, как в Крашневском саду, когда старался очаровать Софи Салтыкову. Когда Каховский говорил патетически о «бедствиях отечества», Николай прослезился. Арестованный заговорщик был растроган. Тогда император сказал:

— Я сам есть первый гражданин отечества.

Фраза пленила нашего Занда. Вероятно, Николай Павлович и сам не ожидал такого эффекта. Надо было прибавить еще перцу к этому словесному пирчеству. И тогда император, выбрав подходящий момент среди излияний Каховского, вдруг заметил как будто с добродушным упреком:

— А нас всех зарезать хотели!

Это было очень кстати сказано. Неизвестно, до чего бы еще договорился Каховский, если бы не это напоминание державного следователя о самой сути де-

ла. Каховский тотчас же представил себе, как замотался на седле смертельно им раненый Милорадович, и подумал о том, что Николай Павлович лишь случайно избежал той же участи.

Каховский решил, что с рыцарем надо говорить по-рыцарски:

— Слава богу,—сказал он,—что ваше величество не поверили Якубовичу, не под'ехали к каре мятежному; может быть, в исступлении, я бы первый готов был по вас выстрелить...

Возможно, что он сказал это тогда не совсем так, но 19 марта, он это повторил с совершенной точностью. Между страшным тираном и пламенным террористом произошло трогательное соглашение. «Я, желающий блага моей милой родине,—писал Каховский царю из крепости,—благословляю судьбу, имея случай излить чувства и мысли мои перед монархом моим, обещающим быть отцом отечества».

Царь лично допрашивал Каховского дважды. После первого свидания Николай Павлович послал коменданту крепости записку: «Присылаемого Каховского посадить в Алексеевский равелин, дав бумагу, пусть пишет, что хочет, не давая сообщаться...» После второго свидания еще записку: «Каховского содержать лучше обыкновенного содержания, давая ему чай и прочее, что пожелает, но с должною осторожностью...» «Содержание Каховского я принимаю на себя».

А Каховский писал царю: «Государь! Я не умею, не могу и не хочу льстить; со вчерашнего вечера я полюбил вас, как человека, и всем сердцем желаю любить в вас моего монарха, отца отечества».

Романтизм всегда живет и питается иллюзиями, мнимостями, отвлеченным началом. В этом отношении сходны все школы романтизма, которые в иных отношениях так различны и своеобразны. Вот это отсутствие реализма в мировозрении об'ясняет, между

прочим, ту странную легкость, с какою романтик может отказаться от своей недавней позиции. И в самом деле, мы постоянно наблюдаем в романтизме культ «мгновения». Все иллюзорно, все непрочно — живи мгновением. В романтизме нет ни прочных интересов, ни твердых нравственных устоев. Романтик Каховский был в этом отношении типичен чрезвычайно. И если почти все декабристы побежденные и арестованные, поколебались в своих убеждениях или, по крайней мере, разочаровались в своей революционной тактике, то Каховский, значительно опередил своих товарищей. Он влюбился в своего следователя и судью, не подозревая, что он станет для него не только следователем и судьей, но и палачом.

«Со вчерашнего вечера я полюбил вас...» Кому он говорил это? Софи Салтыковой или Николаю Павловичу Романову? Кажется, и ей, и ему—в одних и тех же выражениях. И в обоих случаях мнимая романтическая любовь обманула мечтателя. Убеждения Каховского, которые у него сложились под влиянием, главным образом, французского отвлеченного рационализма, остались неизменными и после тягостных раздумий в тесной камере Алексеевского равелина, но он решительно разочаровался в своих недавних друзьях и в их заговорщическом плане. Не Рылеев, а «первый гражданин отечества»—Николай Павлович, —вот кто спасет Россию... Надо только помочь молодому императору понять эту ясную и простую доктрину о свободном государстве. Тогда все прекрасно устроится. И Каховский добросовестно излагает на листах казенной бумаги все твердо им усвоенные истины, которые он считал бесспорными. Одно только смущало Каховского—судьба Суттофа, Панова, Кожевникова, Глебова, т. е. тех, кого он увлек и принял в Тайное Общество.

«Простите, великодушный государь,—писал Каховский,—что я преступник и смею еще просить ва-

шей милости. Увлеченный чувствами, я сделал открытие о тайном обществе, не соображаясь с рассудком, но по движению сердца, к вам благодарного; и, может быть, то сказал, чего бы не открыли другие члены оного. Я—преступник перед вами, преступник перед обществом, перед людьми несчастными, мною в него принятыми. Легко погибнуть самому, но быть причиной гибели других—мука нестерпимая. Я, растерзанный, у ног ваших умоляю: Государь! Спасите несчастных. Свобода обольстительна; я, распаленный ею, увлек офицеров лейб-гвардии Гренадерского полка...» «Не зная меня, они были бы счастливы. Государь, вы сами отец, вы человек, посудите страдания несчастных, невинных семейств. Обманутый Рылеевым, я их обманывал...»

Это последнее признание, ключ к тогдашней психологии Каховского. Он, «обманутый», возненавидел Рылеева. Пока его, Каховского, допрашивали, не предлагая ему очных ставок, пока он еще не знал, как отвечают на допросах товарищи, он еще таил в себе гнев против недавнего своего «благодетеля» Рылеева. Но, когда он узнал, что теперь его товарищи по Тайному Обществу и прежде всего сам Рылеев стараются отделить себя от него, отстранить его, режицидиу, от «общего дела», тогда он дал волю своему презрению и негодованию. Его показания так же страшно и стыдно читать, как и показания почти всех декабристов. Пожалуй, его показания даже страшнее иных.

«Государь!—писал он,—от вас зависит благоденствие наше, мы вам вверены; я отдаюсь вам, я ваш. Есть существо, проницающее в изгибы сердец человеческих, оно видит, что я говорю истину,—я ваш. И благом отечества клянусь, я не изменю вам. Мне собственно ничего не нужно; мне не нужна и свобода; я и в цепях буду вечно свободен; тот силен, кто познал силу человечества. Честному человеку

собственное убеждение дороже лепета молвы. Я не говорю за себя: Государь! есть несчастные, которых я увлек; спаси их, великодушный монарх».

Каховский, с энтузиазмом излагавший свои конституционные чаянья, складно и гладко писавший о нуждах государственных, назвавший известных ему членов Тайного Общества, смущается, делается, как будто, косноязычным и старается молчать, предпочитая не быть откровенным вовсе, когда дело идет о плане цареубийства. 14 мая оно дал такие показания в письме к генералу Левашову: «Простите, что до сих пор я имел низость обманывать ваше доброе обо мне мнение. Участие ваше глубоко впечатлелось в моем сердце, и мне совестно лгать пред вами. Очные ставки никогда бы не могли меня заставить сознаться; они лишь раздражают самолюбие; раз сделанное показание, конечно, каждый старается удержать и при том показатели, столь низкие душой, будучи сами виновными и в намерениях, а некоторые и в действиях, не устыдились оскорблять меня в присутствии Комитета, называя убийцею... делают от себя столько прибавлений, несогласных с моими правилами, что они меня ожесточили. Я чувствую сам преступления мои, могу быть в глазах людей посторонних злодеем, но не в глазах заговорщиков, разделявших и действия, и намерения. Без оправдания я убил графа Милорадовича, Стюрлера и ранил свитского офицера...» «Насчет показаний об убийстве государя императора—все ложь. Я не желаю никому несчастья, бог тому свидетель. — На меня говорят, что я вызывался убить, что стращал открыть общество, что я соглашался резать; но все это несправедливо. Поверьте, я не стану клеветать, мне необходимо погибнуть—неужели я желаю увлечь других. Я мог бы быть злодей в исступлении, но в груди моей бьется сердце человеческое...»

Биограф Каховского справедливо подчеркивает драму безнадежного одиночества, которую пережил Каховский в последние недели и дни своей жизни. «Ты сир на сей земле»,—предсказал ему Рылеев и не пощадил его «сиротства», доканал его своими показаниями.

В своем последнем письме к генералу Левашову Каховский писал: «Первое мое письмо к вашему превосходительству я писал и еще щадил тех, которые столь низко мне вредили; но, разобрав все, вижу, как они гадки, и говорю откровенно, мной руководствует мщение. Они хотели оклеветать меня и через это спастись—это подло. Вам известны, ваше превосходительство, все мои показания, я более себя открывал и щадил их, и вот какая за то плата — ложь и клевета. Я не боюсь умереть; мои намерения были чисты, тому бог свидетель. Заблуждение и пылкость сделали меня злодеем, но подлецом и клеветником меня никто не в силах сделать. Если нужно, чтоб я все сие сказал им в глаза, я согласен; но знаю, что они все запрутся...»

Каховский знает, что «они все запрутся...» Они все! Они вместе, заодно, а он, сирый, никому теперь ненужный, которого предают без пощады и сожаления. Таким чувствовал себя Каховский накануне казни.

Существует рассказ о том, что, когда пятеро осужденных выведены были на казнь, они обнялись друг с другом, как братья, и будто бы одному только Каховскому никто не протянул руки. Возможно, что этот рассказ недостоверен, но и легенды слагаются неслучайно: в них есть нередко вещий смысл.

Андрей Иванович Борисов.

Петр Иванович Борисов.

Братья Борисовы.

Белая хата в черешнях, тихие зори, грустные песни, воркование чернобровых красавиц и ленивая важность усачей, чьи отцы величались своими подвигами за рубежем Украины—вот обстановка, в которой жили в юности братья Борисовы, Андрей и Петр.

Старший, Андрей Иванович, родился в 1798 г., младший, Петр Иванович, в 1801 году. Их отец, отставной майор, из дворян, давно разорившихся и захудалых, добывал кусок хлеба, исполняя заказы помещиков по архитектурной части: чертил планы и составлял проекты. Кажется, этот захолустный зодчий не чужд был некоторых знаний, и он сам преподавал своим сыновьям историю, географию и прочие науки, пока они в 1816 году не поступили юнкерами в 26-ю артиллерийскую бригаду, которая была расположена в Полтавской губернии. В 1819 г. вместе с этой бригадою, переименованной в третью грузинскую гренадерскую, Борисовы оказались на Кавказе и принимали участие в боях против горцев.

«Мой родитель—рассказывает Петр Борисов—не старался влить в меня чрезмерной набожности...» Юноши Борисовы усвоили себе представление о космосе в духе той французской философии XVIII века, коей питались умы и сердца тогдашних вольнодумцев. Можно с уверенностью сказать, что братья Борисовы худо знали историю России, зато они читали Корнелия Непота и Плутарха. Они увлекались республиканскими идеями, составив себе понятие

об античной гражданственности по указке парижских якобинцев. Брут казался им героем. В отрочестве они жадно слушали рассказы о том, как масоны убили императора Павла, и каждый «режицида» был предметом их восхищения.

Но южный пейзаж и тихий быт Полтавской губернии смягчили суровость якобинских идей, и братья Борисовы, несмотря на их «воспаленное воображение насчет любви к отечеству», были весьма нежными и добродушными людьми, склонными к мечтательной меланхолии.

Отвлеченные доктрины французских энциклопедистов, сентиментализм Руссо, античные добродетели греков и римлян—все это находилось в явном противоречии с традициями казенной России, и естественно, что юноши должны были рано или поздно столкнуться с тогдашним бытом, нередко весьма жестоким.

В своих показаниях Петр Борисов рассказывал, между прочим: «Чтение греческой и римской истории и жизнеописание великих мужей Плутарха и Корнелия Непота поселили во мне с детства любовь к вольности и народодержавию; впоследствии жестокости командиров к их подчиненным питали оную и раздували час от часу более. В 1819 году, незадолго до похода в Грузию с тою ротою, в коей я тогда находился, командир мой наказывал палками за пьянство и растрату денег бывшего фельдфебеля, фейерверкера и рядового, при сборе всей роты, без рубашек, по приказу начальника артиллерии в корпусе; я был до того тронут, что вышел из фронта и дал самому себе клятву уничтожить наказание сего рода, хотя бы это стоило мне жизни».

И вот этот самый юный подпоручик 8-й артиллерийской бригады, этот чувствительный Петр Иванович Борисов был обвинен в том, что «умышлял на цареубийство, вызвался сам, дал клятву на совершения оного и умышлял на лишения свободы его высо-

чества цесаревича; учредил и управлял тайным обществом, имевшим целью бунт, приуготовлял способы к оному, составил катехизис и клятвенное обещание, действовал возбуждением нижних чинов к мятежу».

Что же привело этого сантиментального и задумчивого юношу к якобинской революционной тактике. Психология Борисовых была иного социального типа,—чем психология, скажем, Сергея Муравьева, кн. Трубецкого, Н. И. Тургенева, И. Д. Якушкина и прочих дворян-помещиков. На декабристах Северного и Южного тайных обществ лежала неизгладимая печать традиций и привилегий, которыми пользовались их отцы и деды. Даже самые крайные вольнодумцы среди них были все-таки по психологии своей баричами и аристократами, баловнями судьбы. Они подчас спорили с правительством, как капризные дети, не чувствуя еще, что верховная власть уже отделилась от них и склонна лишь частично и условно опираться на помещиков. Пропасть раскрылась перед ними лишь в казематах Петропавловской крепости и в сибирских рудниках. Только тогда они сообразили, что их спор с царем вовсе «недомашний спор», что времена дворцовых переворотов прошли, что на Сенатской площади веяло уже духом настоящей революции и что для них самих, гвардейских офицеров, было неожиданностью выступление той «черни», о которой с тревогой говорит в своих воспоминаниях о 14-м декабре сам император Николай. А «чернь» в самом деле выступила, пусть еще нерешительно,—все-равно те поленья, которые полетели на площади в голову царя, были символичны, как знаки грядущих мятежей. Для братьев Борисовых, напротив, выступление «черни» было желаннее всего. Они сами чувствовали себя не привилегированными дворянами, которые по великодушию и благородству уступают свои привилегии в расчете, однако, на новые права и преимущества (при цензо-

вой конституции), а людьми новыми, с новыми интересами; они тоже были «чернь» с точки зрения петербургских гвардейцев. Такова была социальная база, на которой возникли ревнители так называемого Общества Соединенных Славян, деятельными членами коего были братья Борисовы. Но нас в данном случае интересуют не столько внешние условия, в которых воспитывались характеры Борисовых, Горбачевского, Тютчева, Андреевича, Сухинова и др. соединенных славян, сколько сами эти характеры, как они предстали перед нами в драме, разыгранной в 1825 году в лагере под местечком Лещином, близ Житомира.

Социальные условия, в которых выросли братья Борисовы, отличались значительно от среды, в коей жили декабристы-аристократы, но их идейный и моральный путь был очень схож. Первоисточник их мнений, замыслов и вожделений был один и тот же—масонство. По самой идее своей масонство было международно, и, значит, корни Тайного Общества, надо искать на Западе. Верно или неверно сообщение Петра Борисова, что он был принят в Одессе французским гражданином Оливьером в масонскую ложу «Друзей Природы», все равно связь Тайного Общества, основанного братьями Борисовыми, с западными масонскими союзами вне сомнений. Братья Борисовы меняли свои показания, старались выгородить друг друга, но суть дела ясна. Общество «Друзей Природы» было организовано по типу западных масонских лож. «Когда мы были еще юнкерами, то вздумали, подобно пифагорейцам составить таинственную секту, коея целью должна была быть спокойная и уединенная жизнь, дружба и изучение природы...» — сообщал Петр Борисов, а впоследствии он же излагал факты в иной редакции. «Против показаний брата моего, отставного подпоручика Борисова I-го,—пишет Петр Борисов,—я

должен сделать нижеследующие возражения. Он делает себя более виновным, нежели есть в самом деле, единственно для того, чтобы смягчить несколько заслуженное мною наказание, обратив часть оного на себя самого. Не он, а я первый пригласил Волкова, с которым жил очень дружно, составить тайное общество. Это было в 1818 году, 13 мая в м. Решетиловке, Полтавской губернии...» «Целью сего общества сначала были одни правила Пифагорейской секты: усовершенствование себя в науках, художествах и добродетели, любовь и дружба. Еще теперь можно найти в моих бумагах девиз, сделанный мною для сего общества—две руки соединенные вместе над жертвенником с надписью: «La gloire, l'amour et l'amitie». Оно было названо—Общество Первого Согласия. Потом мы присоединили к прежней цели усовершенствование нравственности в очищении религии от предрассудков; наконец, я убедил Волкова и моего брата, которые мне в этом противились, присоединить к этой цели основание известной республики философа Платона (или по другому чтению «Плотина») и согласил их принять имя «Друзей Природы», написал большую часть правил, клятвенное обещание и устав сего общества, а девизом оного сделал солнце, выходящее из-за горного хребта и рассевающее своими лучами, собравшиеся над ним тучи, с надписью: взойду и рассею мрак...» Примечательно, что братья Борисовы, так же, как Пестель, Рылеев и другие декабристы, хранили масонские знаки и документы до самого ареста. Однако, деятельность натурфилософская и моральная этого тайного кружка осталась вовсе неизвестной. Вероятно, эта захолустная ложа, которую возглавляли полуобразованные Борисовы, мало привлекала к себе внимания заграничных инспираторов. После 1820 года Борисовы продолжали, однако, свою деятельность

в духе масонов, проживая в маленьком уездном городке Новоградволынске.

Здесь состоялось сближение Борисовых с одним незаурядным человеком, который повлиял на судьбу основанного братьями кружка. Это был молодой шляхтич Юлиан Люблинский. Католик по рождению и воспитанию, но уже ставший вскоре вольнодумцем, страдавший с отроческих лет эпилепсией, Люблинский вел замкнутый сосредоточенный образ жизни и успел, несмотря на молодость, накопить довольно знаний. Он был начитаннее Борисовых и они, повидимому, признали его первенство. Кажется, сближение их произошло в 1823 году. К этому же времени относится и вступление в общество Горбачевского. Это была эпоха, когда масоны, разочаровавшись в императоре Александре, готовили ему участь Павла.

В Юго-Западном крае задачи Тайного Общества осложнялись обострением национальных отношений. Под влиянием этих впечатлений возникла идея панславизма. Юлиан Люблинский не чужд был этой идеи.

В своих показаниях Люблинский в таких выражениях рассказывал о своем сближении с братьями Борисовыми: «В городе Новоградволынске Борисовы старались познакомиться со мною и, успев в этом, открыли мне, что они находятся в обществе, но не помню, под каким названием и какая оного была цель, к которому, как Борисовы говорили, принадлежали находившиеся в Петербурге Волков и другие, которых фамилий я не помню. Борисовы показали мне правила сего общества, но я, рассмотрев, рассмеялся и назвал их маленькими философами. Тогда они начали спрашивать, как я думаю, и сказали: но напиши лучше...»

Люблинский стал развивать свои идеи в духе панславизма. Повидимому, Борисовы сочувственно отнеслись к программе своего нового друга. Идея панславизма висела в воздухе. В эпоху наполеоновских войн, среди польских легионеров создавались кружки и союзы, занимающиеся пропагандою панславизма. Писатель Лелевель, епископ Воронич, наконец, известный Зориан-Доленга Ходаковский и некоторые другие панслависты поддерживали эту пропаганду. Естественно, что Борисовы, эти «маленькие философы» идеалисты, сочувственно отнеслись к планам и надеждам Юлиана Люблинского.

Так образовалось Общество Соединенных Славян. Неизвестно, существовала или нет какая-либо связь между этим обществом и киевскою масонскою ложею с таким же названием. Вероятнее, что непосредственной связи не было, но возникли эти союзы на общей почве. Ложа Соединенных Славян была в тесном общении с польским Патриотическим Обществом и работала по системе Великого Востока Польского, хотя и входила в союз великой ложи Астреи. Декабрист Волконский, член ложи Соединенных Славян, в своем вступительном слове говорил об единении поляков и русских. Об этом же мечтал Люблинский и братья Борисовы.

Общество, основанное Борисовыми, не утратило своего масонского характера после того, как Люблинский посмеялся над «маленькими философами». Попрежнему это общество, названное теперь «Обществом Соединенных Славян», пользовалось условною эмблематикою и приемами масонской «работы». Члены этого тайного общества мечтали об'единить славян в единый федеральный союз. Проектировался новый центральный город, куда все славянские народы должны были посылать своих депутатов; проектировались торговые порты на берегах морей, омывавших славянские земли. Были утверждены особые

эмблемы для обозначения столицы Славянской Федерации. Знаком столицы был чертеж башни; восьмиугольник с единицею посредине и с четырьмя якорями по бокам должен был знаменовать славянское единство, с четырьмя портами на морях—Балтийском, Белом, Черном и Средиземном; были и другие эмблемы в том же роде.

Вступавший в «Общество Соединенных Славян» произносил следующую клятву:

«Вступая в число Соединенных Славян для избавления себя от тиранства и для возвращения свободы, столь драгоценной роду человеческому, я торжественно присягаю на сем оружии, на взаимную любовь, что для меня есть божество, и от чего я ожидаю исполнения всех моих желаний. Клянусь быть всегда добродетельным, вечно быть верным нашей цели и соблюдать глубочайшее молчание. Самый ад со всеми своими ужасами не вынудит у меня указать тиранам моих друзей и их намерения. Клянусь, что уста мои тогда только откроют название сего союза пред человеком, когда он докажет несомненное желание быть участником оного; клянусь до последней капли крови, до последнего вздоха вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты. Особенная деятельность будет первою моею добродетелью, а взаимная любовь и пособие святым моим долгом. Клянусь, что ничто в мире тронуть меня не будет в состоянии. С мечом в руках достигну цели, нами назначенной. Пройду тысячи смертей, тысячи препятствий,—пройду и посвящу последний вздох свободе и братскому союзу благородных славян. Если же нарушу сию клятву, то пусть угрызения совести будут первою местью гнусного клятвопреступления, пусть сие оружие обратится острием в сердце моем и наполнит оное адскими мучениями, пусть минута жизни моей, вредная для моих друзей, будет последняя, пусть от сей

гибельной минуты, когда я забуду свои обещания, существование мое превратится в цепь неслыханных бед. Пусть увижу все любезное моему сердцу издыхающим от сего оружия в ужасных мучениях, и оружие сие, достигая меня, преступного, пусть покроет меня ранами и бесславием, собрав на главу мою целое бремя физического и морального зла, выдавит на челе печать юродливого сына сей природы».

Подобные клятвы произносились в каждой масонской ложе, но ближе всего эта клятва подходит к клятвенной форме, употреблявшейся в Неаполитанской ложе «Свободных Пифагорейцев», где карбонарии клялись на оружии,—которое мстит клятвопреступникам... «Я клянусь — говорил карбонарий — в вечной ненависти к тиранам и всем их приспешникам и в том, что буду изыскивать все случаи для их искоренения...» «Клянусь, что, если я когда-либо окажусь клятвопреступником, то буду готов на то, чтобы мое тело было разорвано на куски, брошено в огонь, обращено в пепел и рассеяно по ветру, наконец, чтобы мое имя вызывало омерзение у всех братьев, рассеянных по поверхности земли...»

Форма клятвы и особенно название «Свободные Пифагорейцы» сближает этих южных карбонариев с нашими адептами «Пифагоровой секты», принявшими позднее название «Соединенных Славян». И как ни мал был этот провинциальный союз, нельзя забывать, что все-таки и он был связан с западно-европейскими центрами масонства, хотя едва ли западные инспираторы обращали на него серьезное внимание.

При аресте Петра Борисова в его бумагах нашли «Катехизис», вероятно, им составленный и принятый в Обществе Соединенных Славян. Текст этого катехизиса таков:

Правила Соединенных Славян.

1. Не надейся ни на кого, кроме твоих друзей и своего оружия. Друзья тебе помогут, оружие тебя защитит.

2. Не желай иметь раба, когда сам рабом быть не хочешь.

3. Каждый почтет тебя великим, когда гордости и избытку ты искать не будешь.

4. Простота, трезвость и скромность, сии блюстительницы сохранят твое спокойствие.

5. Не желай более того, что имеешь, и будешь независимым.

6. Богиня просвещения пусть будет пенатом твоим и удовольствия ее любовью пусть будет в доме твоем.

7. Почитай науки, художества и ремесло. Возвысь даже к ним любовь до энтузиазма и будешь иметь истинное уважение от друзей твоих.

8. Невежество с детьми своими гордостию, суетностию и фанатизмом да будет твоим злым духом Вельзевулом.

9. Будешь терпеть все вероисповедания и обычаи других народов, пользоваться же только истинно хорошим обязан.

10. Будешь стараться разрушать все предрассудки, а наиболее до разности состояний касающиеся, и в то время станешь человеком, когда станешь узнавать в другом человека.

11. Будешь добродетельным, и добродетель целой жизни соплетет венец спокойствия для твоей совести.

12. Употребишь даже свое оружие, если того нужда будет требовать на защиту невинности, и от несправедливости и мщения не погибнешь, ибо друзья твои защищать тебя будут.

13. Будешь помогать своим рассудком и своим оружием друзьям твоим, ибо и они также помогать тебе будут.

14. Будешь таким, и гордость тирании своею суетностию падет пред тобою на колена.

15. Ты еси славянин и на земле твоей при берегах морей, ее окружающих, построишь четыре флота—Черный, Белый, Далмацкий и Ледовитый, а в средине оных воздвигнешь город и в нем богиню просвещения и своим могуществом на троне посадишь, оттуда будешь получать для себя правосудие и ему повиноваться обязан, ибо оное с дороги тобою начертанной совращаться не будет.

16. В портах твоих, славянин, будут цвести торговля и морская сила, а в городе посреди земли твоей справедливость для тебя обитать станет.

17. Желаешь иметь сие, соединись с твоими братьями, от которых невежество твоих предков отдалило тебя. Желаешь все то иметь, будешь жертвовать десятою частью твоих доходов годовых и будешь обитать в сердцах друзей твоих.

Таковы были «правила» этого Тайного Общества. Кажется, для нас закрыта внутренняя и, действительно, тайная цель этого союза, ничтожного по своим силам и числу членов и, однако, повторяющего все приемы и формы тайных сообществ, более значительных во всех отношениях. Декабристы, как известно, были чрезвычайно откровенны в своих показаниях, но эта откровенность была ограничена политической программой. Что касается связи тайных обществ с масонством, то декабристы, не посвященные, умалчивали о ней по неведению, а посвященные по совершенно иным и вполне понятным мотивам. Отрицать связь наших тайных обществ с западным масонством было бы также наивно, как отрицать масонский характер карбонаризма.

Основатель первой ложи карбонариев во Франции был масон Дюжье. Эмблематика итальянских карбонариев целиком масонская. Документы Соединенных Славян, уцелевшие после постигшей их катастрофы, составлены в духе карбонаризма. Из этого надлежит сделать соответствующие выводы.

Автор Донесения Верховной Следственной Комиссии относится иронически к программе и деятельности Общества Соединенных Славян, и в самом деле, на первый взгляд, кажется, смешным, что грандиозный политический и социальный план задуман несколькими армейскими поручиками, сочинявшими свою программу в маленьком захолустном городке. Но на самом деле это уж не так смешно, если мы установим связь этого маленького союза с ложами, работавшими на Западе.

Ближайшая и простейшая цель Соединенных Славян была ясна. Один из юных членов этого союза показывал на следствии: «Настоящая цель общества было уничтожение существующей власти и введение народного образа правления...» «Славянское Общество—по свидетельству того же заговорщика — обязывало каждого ко всегдашней ненависти к трону». Однако, эта ясная и определенная цель была очень далека от осуществления. Славяне думали, что желанный переворот совершится усилиями народных масс. Тут сказался их демократизм. Они считали своим долгом вести пропаганду среди населения, прежде всего среди солдат, но они вовсе не хотели военного переворота. Они мечтали найти поддержку в самом народе,—в крестьянстве, в фабричных, в городском мещанстве,—и менее всего они рассчитывали на сочувствие привилегированного дворянства. Цель Общества отодвигалась в неопределенное будущее. Так, по крайней мере, оценивал тогдашнюю историческую обстановку Петр Борисов. Эта неопределенность в сроке восстания волновала иных

нетерпеливых юношей, которые были членами Общества Соединенных Славян.

II.

Тогдашний воздух России насыщен был электричеством, как перед грозой. Все чувствовали, что сейчас загремит гром и засверкает молния. Дышать было трудно. Атмосфера политическая, социальная и моральная была непереносна. Те силы, которые были вызваны на арену истории волею царя Александра, угрожали внутреннему миру, устрашая и самого императора и всех ревнителей старого порядка. В Млинищах, где стояла на тесных квартирах 8-я артиллерийская бригада, не менее волновались и ждали чего-то решительного, чем в Петербурге, где гвардия привыкла участвовать в событиях большой политики. Соединенные Славяне—мечтатели и заговорщики—жили в странном ожидании великой бури. Легко представить себе их волнение, когда они узнали от некоего капитана Тютчева, недавно принятого в Общество, что где-то, совсем рядом, существует не то ложа, не то союз с целями, подобными тем, кои были приняты, как необходимые, Обществом Соединенных Славян.

Прежде всего шопотом называли имя подполковника Черниговского полка, Сергея Муравьева-Апостола. В это время как раз 3-й пехотный корпус был собран под местечком Лещиным, в 15-ти верстах от Житомира. К осени 1825 года сюда пришли все назначенные части, между прочим, и 9-я гусарская дивизия и принадлежащая к ней конная артиллерия. Деревня Млинищи была в трех верстах от Лещина.

В начале апреля Петру Борисову было уже известно, что в России имеется большое Тайное Общество и что готовится государственный переворот. «Ма-

ленький философ», сочинивший устав Соединенных Славян, и мечтавший о подготовке умов и сердец к новому идеальному строю, который—по его расчетам—мог возникнуть в отдаленном будущем, был совершенно смущен и подавлен близостью революции. Однако, надо было решить вопрос о своем отношении к грядущим событиям. Петр Борисов собрал своих друзей и уведомил их о чрезвычайной новости. Решили немедленно искать встречи с Сергеем Муравьевым. Тут же выяснилось, что 29-го августа в деревню Млиницы приезжали сам С. Муравьев и Бестужев-Рюмин, которые желали познакомиться с Горбачевским и Борисовым, но, не застав их дома, уехали обратно в лагерь.

Чуть ли не на другой день Борисов и Горбачевский явились к Сергею Муравьеву. У него застали и Бестужева-Рюмина. Трезвый и осторожный Горбачевский также, как и Борисов, сдержанный и несколько мнительный, были изумлены и поражены тем, что все тайны Соединенных Славян стали уже известными Муравьеву. Он встретил новых товарищей с особым радушием и постарался очаровать любезностью этих провинциальных армейских офицеров, которые дичились и хмурились, негодуя на то, что капитан Тютчев слишком торопливо разболтал секреты их Общества.

Муравьев и Бестужев после долгих разговоров предложили Борисову устроить общее собрание Соединенных Славян, на котором они, Муравьев и Бестужев, сделают свои предложения. С этим известием Борисов и Горбачевский вернулись к себе в Млиницы. Тогда же многие негодовали на нескромность и неосторожность Тютчева, при чем нашлись и такие, которые требовали его смерти за разоблачение тайн Общества. Однако, большинство согласилось с тем, что надо пригласить Муравьева на общее собрание Соединенных Славян. Собрание состоялось, кажется,

четвертого сентября, но явился на него один только Бестужев-Рюмин. Это был совсем еще юный офицер, с малыми познаниями, но с большим энтузиазмом, страстный и неосторожный, влюбленный в своего старшего товарища Муравьева и повторявший все его слова и жесты, при всем том, в нем была твердая вера в необходимость, возможность и близость государственного переворота. Однако, первое совещание не оправдало его надежд. Самолюбивые «славяне» были недовольны тем, что их организация и планы известны Муравьеву, а Южное Общество остается для Соединенных Славян не вполне открытым. Существует какая-то таинственная Верховная Дума, но где она находится и кто входит в ее состав, неизвестно. Через несколько дней состоялось второе совещание.

«Сие собрание было многочисленное—пишет Горбачевский:—Бестужев приехал вместе с Тютчевым и начал разговор требованием неограниченной доверенности к Верховной Думе; во имя любви к отечеству просил Славян соединиться с Южным Обществом без дальнейших с его стороны об'яснений. Громкий ропот и из'явление негодования служили ему ответом...» Тогда Бестужев назвал ряд лиц, которые были, по его словам, членами Тайного Общества — кн. Волконского, кн. Трубецкого, генерала Раевского, генерала Орлова, Юшневского, Пестеля, Давыдова, Тизенгаузена, Повало - Швейковского, Александра и Артамона Муравьевых, Фролова, Пыхачева, Враницкого, Набокова и многих других. Это признание и эти имена произвели на Соединенных Славян сильнейшее впечатление. Сообщение Бестужева о том, что Польское Тайное Общество присоединилось к Южному Обществу, также подействовало на умы заговорщиков. «Откровенность Бестужева,— повествует Горбачевский — обворожила Славян; немногие могли противиться всеобщему влечению;

согласие соединиться с обществом благонамеренных людей, поклявшихся умереть за благо своего отечества, выражалось в их взорах, в их телодвижениях; каждый требовал скорейшего окончания дела. Только Борисов 2-й и некоторые из присутствовавших на сем совещании Славян почитали невозможным безусловное соединение двух обществ...»

Петр Борисов понял, что задуманное им дело ускользает из его рук. Он понял, что Общество Соединенных Славян, подчинившись Южному Обществу, отказывается тем самым от своего плана и своей программы. Он пытался возражать Бестужеву, защищая право Соединенных Славян на самостоятельность. Но тогда уже никакие доказательства от разума не могли повлиять на взволнованное собрание. Утопия Борисова казалась такой далекой и отвлеченной. Эмблемы четырех портов на четырех морях и знак столицы славянской федерации теперь не казались занимательными... Бестужев летел как на крыльях. Он заразил своим энтузиазмом всех этих поручиков, схмелевших в предчувствии мятежа.

Бестужев почувствовал, что теперь ему будут покорны эти взволнованные юноши. Он потребовал от них назначения посредника для сношения с Верховною Управою при посредстве его, Бестужева, и Муравьева. На другой день в тех же Млинищах было назначено собрание, на котором Петр Борисов сделал доклад об Обществе. Он подчинился большинству и согласился на присоединение к Южному Обществу. В докладе, однако, он напомнил о целях и тактике Общества Соединенных Славян, хотя едва ли он в это время питал надежду на применение к делу его принципов. Корабль уже плыл с ветрилами, но без руля. Мысль Борисова, что свобода завоевывается всей нацией, а не армией, что она приобретается путем пропаганды, а не усилиями отдельных заговор-

щиков, наконец, его мечта о панславизме: все это было забыто.

«Маленький философ» был оскорблен. Какой-то легкомысленный юноша, говоривший без всякого плана, но с большим пафосом и широкими жестами, привлек к себе сочувствие легковерных. Бестужев не пользовался популярностью среди членов Южного Общества. Если бы не покровительство Сергея Муравьева, им бы и вовсе пренебрегали. Но иногда и этот нескладный, но восторженный молодой человек приобретал власть над толпою. Так случилось и при встрече с членами Общества Соединенных Славян.

А между тем бестолковость Бестужева была анекдотична и многих раздражала. После знаменитого заседания, на котором столько было горячих речей и восклицаний, «славяне» выбрали посредником для сношения с Южным Обществом» Спиридова. И вот как раз по этому поводу с Бестужевым случился странный анекдот. Выходя от Муравьева—рассказывал Горбачевский—Бестужев-Рюмин остановил Борисова 2-го и Бечаснова и спросил их, выбрали ли они посредников. И не дождавшись ответа, прибавил в рассеянности: «Сделайте милость, не выбирайте Борисова 2-го».

— Мы выбрали Спиридова,—сказал хладнокровно сей последний,—вы вероятно уже об этом знаете?

— Я, именно хотел сказать, чтобы его не выбирали,—подхватил Бестужев-Рюмин с замешательством и начал извиняться в своей ошибке.

Борисов 2-й улыбнулся вместо ответа.

То, что в рассеянности пробормотал Бестужев в лицо Борисову, кажется, не было случайным. Мысль о нежелательности Петра Борисова в роли посредника между двумя тайными обществами, очевидно, занимала беспокойный ум Бестужева. Петр Борисов был неподходящим человеком, при вновь возникших обстоятельствах.

В развитии Тайного Общества мы замечаем любопытную психологическую черту. Мы знаем, что масонский союз был первоисточником тех политических организаций, которые подготовляли переворот; мы знаем также, что с расширением тайных обществ в них попадали люди не только чуждые масонству, но иногда и враждебные ему. И вот мы замечаем, что те лица, которые были связаны масонскими традициями ,иногда не могут направлять деятельности обществ в желательном для них плане. Так мы видим, например, что Пестель на юге и Рылеев на севере, оба масоны, тщетно стараются задержать и умерить развитие событий. В таком же положении оказался и Петр Борисов, философ «Пифагоровой секты», недовольный торопливостью своих недавних единомышленников. Новые люди типа Бестужева не были так осторожны и осмотрительны, как те, кои были инспирированы западными ложами или, по крайней мере, действовали в их духе, предпочитая бороться тайною интригою, а не простым оружием в огне мятежа.

В этом отношении очень характерно одно из собраний Соединенных Славян, в присутствии Бестужева, когда Спиридов читал «правила» сообщества. Эти правила были составлены в масонском духе. Каждый член подвергался ответственности за свои действия и должен был давать отчет руководителям.

Неосторожность и нескромность карались различным образом. За измену виновный обрекался на смерть.

Бестужев и за ним большинство протестовали против этих строгих правил. Тщетно Петр Борисов и его друзья указывали на то, что заговорщики не могут быть свободны в своих действиях; что, принимая на себя с в я щ е н н ы е и вместе с тем у ж а с н ы е обязательства, они должны подчинить

Обществу свою личную свободу. «Совесть каждого не всегда может быть верным и надежным блюстителем принятых обязательств».

Тогда Бестужев-Рюмин вскричал: «Для приобретения свободы не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения,—нужен один энтузиазм. Энтузиазм,—продолжал он в иступлении,—пигмея делает гигантом; он разрушает все, и он создает новое...»

Мнение Бестужева победило, и «правила» были отвергнуты большинством. Решено было выбрать двух «посредников» для сношения с Южным Обществом. Избрали Спиридова и Горбачевского. Петр Иванович Борисов уклонился от баллотировки.

И вот, тогда в конце заседания, произошел любопытный диалог между Бестужевым и Борисовым.

— Наша революция,—сказал Бестужев,—будет подобная революции испанской 1823-го года; она не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армией, без участия народа; Москва и Петербург с нетерпением ожидают восстания войск. Наша конституция утвердит на всегда свободу и благоденствие народа. Будущего 1826 года в августе месяце император будет смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма; тогда ненавистный тиран падет под нашими ударами; мы поднимем знамя свободы и пойдем в Москву, провозглашая конституцию.

Тогда Борисов спросил:

— Но какие меры приняты Верховною Думою для введения предположенной конституции? Кто и каким образом, будет управлять Россией до совершенного образования нового конституционного правления?

— До тех пор, пока конституция не примет надлежащей силы,—отвечал Бестужев,—временное правление будет заниматься внешними и внутренними

делами государства, а это может продолжиться десять лет.

— По вашим словам,—возразил Борисов, — для избежания кровопролития и удержания порядка, народ будет вовсе устранен от участия в перевороте; революция будет совершенно военная, одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?

По свидетельству Горбачевского, эти вопросы произвели сильнейшее впечатление на Бестужева. Лицо его исказилось от гнева и глаза засверкали.

— Как можете вы меня об этом спрашивать!— вскричал он,—Мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей! Никогда! Никогда!

На это Борисов ответил с улыбкою сомнения:

— Это правда, но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавий, юноша 18-ти лет.

Разговор этот ничем не кончился. Толпа шумела. Бестужев сделал вид, что замечания Борисова ему не кажутся важными. Но с каждым новым свиданием у Борисова с «южанами» возникали недоразумения. Что-то не ладилось в их отношениях. Возник спор, например, о праве Соединенных Славян принимать в общество офицеров Черниговского полка. Муравьев настаивал на том, что все касающееся Черниговского полка принадлежит ему исключительно, и он не позволит никому другому вмешиваться в его распоряжения. Это вызвало яростные проте-

сты со стороны «славян». Улаживать это недоразумение пришлось Борисову. Муравьев уступил.

Были и более важные споры. Муравьев и Бестужев, сообщая свои политические планы, умолчали об одном вопросе—как быть с императором. А между тем вопрос этот надо было решить. Пока Соединенные Славяне, в качестве пифагоровой секты, решали умозрительно глубокомысленные проблемы, реальный факт цареубийства не ставился ими на очередь. Но после соединения с Южным Обществом, надо было выяснить и этот вопрос, вовсе не безразличный. Прежде Борисов мечтал о длительной пропаганде. Дворцовые перевороты ему не нравились. Он не одобрял также суда над Карлом I-м, казни Людовика XVI-го, изгнание Іакова II-го и заточение Фердинанда VII-го... Однако, обстоятельства изменились. На вопрос Муравьева, что же делать, если император откажется удовлетворить конституционные требования, Борисов ответил: «Народ должен делать условия с похитителями власти не иначе, как с оружием в руках, купить свободу кровью и кровью утвердить ее; безрассудно требовать, чтобы человек, родившийся на престоле и вкусивший сладость властолюбия, добровольно отказался от того, что он привык почитать своим правом; хотя некоторые и приводят в пример Траяна, который хотел в Римской империи ввести демократическое правление, но Траян может быть исключением очень редким, как в физической, так и в нравственной природе человека, и не может служить правилом и руководством». Точно и прямо о цареубийстве не говорили, но у Бестужева вырывались иногда многозначительные фразы.

«Тиран падет под нашими ударами...» «Мы убьем законного государя...» Идеей истребления всей царствующей фамилии Бестужев и Муравьев с новыми своими товарищами по заговору не делились вовсе...

Тринадцатого сентября состоялось соединенное заседание «Славян» и «Южан». Это собрание, по словам очевидца Горбачевского, походило на «сборище людей исступленных». Всеми овладел восторг необыкновенный... Бестужев клялся умереть за свободу, призывал Провидение, целуя образ, висевший у него на груди. Икона переходила из рук в руки. Все клялись, крича: «Да погибнет различие сословий! Да погибнет дворянство!...» Но и тут не обошлось без недоразумения. Бестужев неосторожно высказал ту мысль, что не все непременно обречены на гибель. Освобожденное отечество, дескать, будет благодарно и ревнители свободы не останутся без награды. Это замечание вызвало крики негодования и гнева. Оказывается, эти юные дворяне не только отказывались от своего дворянства и прочих привилегий, но хотели во что бы то ни стало пожертвовать жизнью. Мысль о награде показалась им оскорбительной. Однако, в конце концов помирились и успокоились.

Спустя несколько дней после этой восторженной клятвы Муравьев и Бестужев пригласили к себе Горбачевского и еще двух «славян». Выяснилось, что «южане» ждут от «славян» согласия на цареубийство. Нужны были люди, способные обречь себя на это дело. Горбачевский, не колеблясь, предложил себя и некоторых товарищей, между прочим, Петра Борисова. Против последнего возражал Бестужев-Рюмин. Горбачевский «почел сие устранение оскорбительным и спросил причину оного».

«Он слишком холоден и неспособен к энтузиазму,—отвечал Бестужев,—и потому я почитаю его неспособным к этому решительному предприятию». Но Горбачевский настоял на том, чтобы Борисов был в числе «заговорщиков». Так и сделали. Шестнадцатого сентября Петра Ивановича Борисова пригласил Муравьев, и ему сообщили, что на его долю

выпала великая честь «нанести удар императору». Борисов поклялся, что будет хранить втайне данное ему поручение. Он страшился погубить дело возможного переворота и готов был жертвовать собою, хотя эти люди, Муравьев и Бестужев, были ему чужды и даже неприятны: Бестужев казался ему легкомысленным, самонадеянным и хвастливым; Муравьев был барином, избалованным и капризным. От Южного Общества веяло духом дворянской усадьбы, сытой, праздной и самолюбивой. Зато Борисов жадно собирал все признания и мнения, свидетельствующие о том, что простые непривилегированные люди хотят переворота и готовы поддержать восстание. «Между всеми сословиями начали распространяться разные слухи о перемене существующего порядка. Один из фейерверкеров, преданных Борисову 2-му, сообщил, что городской голова, мещанин, уважаемый всем городом, разговаривал с ним о смерти Александра, явно обнаружил свои надежды на лучшую будущность и намекал о близком перевороте, которого желают многие...» « По словам сего же фейерверкера, многие унтер-офицеры и солдаты Саратовского полка, ночевавшие в городе, из'явили готовность действовать...»

Но события застали врасплох заговорщиков. Смерть императора, весть о мятеже в Петербурге, арест Муравьева, восстание Чернитовского полка, разгром мятежников—все это было слишком неожиданно и бурно. Члены «Пифагоровой секты» растерялись, недоумевая. Братья Борисовы были, кажется, решительнее и последовательнее других, но и они не сумели спасти общее дело революции.

Как раз в тот день, когда в Петербурге император Николай с оружием в руках защищал свое право на престол, а в его голову летели пули и камни, из Харьковской губернии приехал в Новоградволынск брат Петра Борисова, отставной Андрей Ива-

нович. Он был намерен опять вступить в военную службу, но Об'единенные Славяне в это время были так возбуждены совещаниями с Южным Обществом, что Андрей Борисов немедленно принялся действовать как заговорщик. Едва пришла весть о походе Черниговского полка, как братья Борисовы поняли, что необходимо поднять общее восстание.

— Мы должны погибнуть, — рассуждал Андрей Борисов, — и погибнуть позорно: нашему выбору представляется или смерть, или заточение. Мне кажется, лучше умереть с оружием в руках, нежели жить целую жизнь в железах...

И вот тогда начинается лихорадочная и напрасная, однако, деятельность братьев Борисовых. Они раз'езжают от роты к роте, от полка к полку; они шлют агитационные записки; рассылают гонцов во все стороны, настаивая на немедленном бунте. Но разгром Муравьева поразил умы заговорщиков. Братья Борисовы, в ответ на их призывы, получают везде один и тот же ответ: «Муравьев предлагал нам готовить солдат к осени 1826 года. К тому сроку мы будем готовы, а сейчас у нас нет сил... К тому же мы теперь соединены с Южным Обществом. Будем ждать директив от Верховной Думы...»

Братья Борисовы изнемогали в этой борьбе с малодушием и паникою. Из Славян только несколько человек, присоединившихся к Муравьеву, приняли непосредственное участие в восстании. Двое из них, Кузьмин и Щепило, погибли во время мятежа. Прочие славяне были захвачены и арестованы позднее. У Борисовых был план, собрав роты, расбросанные вокруг Новограднволынска, и взяв артиллерию, которая стояла в городе, итти с этими силами на Житомир. Здесь была надежда на Артамона Муравьева, который командовал Ахтырским гусарским полком и на Повало-Швейковского, которого любили солдаты Алексеопольского пехотного полка. Оттуда Борисовы

хотели итти на Киев или Бобруйск и далее в Москву, набирая по дороге инсургентов.

Весь план рухнул. Неудача Чернитовцев смутила и тех, кто недавно шумел, восклицал и клялся, размахивая руками. Когда в Житомире Андрей Борисов узнал о поражении мятежников и о грозящем ему аресте, он понял, что все погибло. Католические монахини местного монастыря предлагали Борисову свое содействие для бегства за границу, но он поехал зачем-то в Киев, был там арестован, потом освобожден и снова арестован уже окончательно, позднее, у себя на родине в Курской губернии.

III.

Итак, братья Борисовы, эти «маленькие философы», учредители Пифагоровой секты, силою обстоятельств, оказались в рядах заговорщиков, оказались в той «обреченной на гибель когорте», о которой мечтал Пестель. Правда, им не пришлось получить славу цареубийц, не пришлось даже участвовать непосредственно в действиях повстанцев, но они сознательно взяли на себя ответственность за все события нашей первой, еще незрелой революции.

Андрей Борисов, давая показания Верховной Следственной Комиссии, заявил: «Я не нахожу в себе вольнодумства, но все то, что здравый разум может внушить при беспристрастном и прилежном исследовании вещей. Всеобщий голос неудовольствия в народе дал мне идею к размышлению, и я заметил, что это происходит от несправедливых требований правительства. С каким вы прилежанием стараетесь изыскать историю прежних моих поступков, не с тем намерением, чтобы уменьшить оные, но, чтобы не упустить случая наказать достойно. Я откровенно об'явил, что сам считаю себя виновным против самовластного правления, но по своему рас-

судку не признаю виновным ни себя, ни кого-либо из моих товарищей. Может быть, я в заблуждении, но твердо уверен, что законы ваши не правы; твердость их находится в силе и предрассудках...»

Судьи не согласились с доводами философа. Братья Борисовы были приговорены к смертной казни через отсечение головы. Царь их, как известно, помиловал и, вместо казни, они были отправлены в Сибирь, сначала на каторгу, а потом на поселение.

Кн. М. Н. Волконская, разыскивая мужа, встретила Борисовых в Благодатском руднике. «Я увидела вход, ведущий как бы под землю, в подвал и возле вооруженного часового. Мне сказали, что здесь они спускаются в рудник. Я спросила, можно ли их увидеть за работой. Этот добрый парень поспешил дать мне восковую свечу, нечто в роде факела, и в сопровождении еще одного сторожа—старшего,— я решила спуститься в этот мрачный лабиринт. Там было довольно тихо, но спертый воздух затруднял дыхание. Я шла быстро и услышала позади себя голос, который кричал мне, чтобы я остановилась. Я поняла, что это был офицер, который хотел удержать меня от разговора с узниками. Я погасила факел и бросилась бежать, так как я видела вдали светящиеся точки. Это были наши узники, работавшие на небольшом возвышении; они спустили мне лестницу, я влезла по ней, затем ее втащили обратно,— и, таким образом, я увидела товарищей мужа, передала им известие из России и привезенные письма...» Здесь работали и братья Борисовы.

Они позднее отбывали свое наказание в Чите и в Петровском заводе. Они попрежнему все еще поклонялись науке с наивною верою полуобразованных провинциалов. Даже на каторге, во время прогулок, в сопровождении конвойных, они «страстные естествоиспытатели, собирали травы и составили коллекции насекомых и бабочек». В официальном сообще-

нии о поведении Борисовых сказано: «Всегда печальны, тихи, молчаливы, с большим терпением переносят свое состояние». Но уже 27 февраля 1927 года имеется страшная в своем бесстрастии помета: «Борисов Петр здоров, Андрей—страдает помешательством в уме».

И. Д. Якушкин, повествуя о быте каторги, рассказывает, между прочим: «...Кружок, наиболее замечательный, состоял из Славян; они не собирались никогда вместе, но, быв знакомы одни с другими, еще прежде ареста, они и потом остались в близких сношениях между собою».

«Все они служили в армии, не имея блистательного положения в обществе; многие из них воспитывались в кадетских корпусах, не отличавшихся в то время хорошим устройством. Вообще грамотность Славян была не очень обширна; но зато имея своего рода поверья, они не из'являли почти никогда шаткости в своих мнениях, и, приглядевшись к ним поближе, можно было убедиться, что для каждого из них сказать и сделать было одно и то же, и что в решительную минуту ни один из них не попятился бы назад. Главное лицо в этом кружке был Петр Борисов, к которому Славяне оказывали почти безграничную доверенность. Иные почитали его основателем Общества Соединенных Славян; но он в этом несознавался, и, зная его, трудно было бы поверить, чтобы он мог быть основателем какого-нибудь тайного общества. Воспитанный дома у отца, довольно любознательный, он вступил в артиллерию юнкером, с ротой своей стоял некоторое время в имении богатого польского помещика, у которого была библиотека. Борисов, зная несколько по-французски и пользуясь книгами, которые попадались ему в руки, прочел Вольтера, Гельвеция, Гольдбаха и других писателей той же масти осьмнадцатого столетия и сделался догматически безбожником. Проповедуя не-

верие своим товарищем Славянам, из которых многие ему верили на слово, он был самого скромного и кроткого нрава; никто не слыхал, чтобы он, когда-нибудь возвысил голос, и конечно, никто не подметил в нем и тени тщеславия. Благорасположение ко всем проявлялось в нем на каждом шагу, и с детским послушанием он исполнял требования кого бы то ни было; он любил страстно чтение и рисовал очень недурно; но требовал ли кто-нибудь, чтобы он выкопал гряды, и он тотчас же оставлял свои занятия и брался за заступ; нужна ли была кому вода для поливки, он без малейшей отговорки приносил ведро с водой...»

В августе 1829 года с братьев Борисовых сняли кандалы. После каторги Борисовы поселились в деревне Разводной, в сорока верстах от Иркутска. Они жили в крайней бедности. Потерявший рассудок Андрей Иванович занимался переплетным делом; Петр Иванович давал уроки, между прочим, небезызвестному Н. А. Белоголовому, который рассказывал в своих воспоминаниях о своем учителе. И на Белоголового, тогда еще—в 1842 году — мальчика, Петр Иванович, таинственный основатель Пифагоровой секты, участник заговора, возможный цареубийца, непримиримый безбожник, производил впечатление человека доброго и смирного. «Петр Иванович, — пишет Белоголовый,—был необыкновенно кроткое и скромное существо; он был невысокого роста, очень худощав; я до сих пор не могу забыть его больших вдумчивых глаз, искрившихся безграничной добротой и прямодушием, его нежной привлекательной улыбки и тихой его речи...»

«С Борисовым у нас завязалась прямая и самая бесхитростная дружба, так как по своей непомерной безобидности и кротости он нам был больше по плечу. Не знаю, был ли он хорошим математиком, знаю только, что во мне он ни способностей к этой науке,

ни любви к ней не развил, но за то он нас увлекал большою своею страстью к природе и к естественным наукам, которые изучил недурно, особенно растительное и пернатое царство Сибири; рисовал же он птиц и животных... с замечательным мастерством. По окончании уроков, он, если день был хороший, тотчас же брал нас с собою на прогулку в лес, и для нас это составляло великое удовольствие: в лесу мы не столько резвились на просторе, сколько ловили бабочек и насекомых и несли их к Борисову, и он тут же определял зоологический вид добычи и старался поделиться с нами своими сведениями. Иногда приводил нас к себе в свой крохотный домик, и тогда, лишь только мы переступали порог комнаты, несчастный брат его, никогда не снимавший с себя халата, и не выходивший на воздух, порывисто вскакивал из-за переплетного станка и убегал в соседнюю комнату так, что мы никогда не видели его лица. В жилище Борисова нас всегда манила собранная им небольшая коллекция сибирских птиц и мелких животных, а также великое множество его собственных рисунков, за работой которых он просиживал все часы своих досугов».

Когда спустя двенадцать лет Белоголвый навестил своего учителя, он нашел его таким же тихим, задумчивым и грустным: «Петр Иванович старался наполнить свой день чтением и живописью, и казалось, совсем помирился с таким могильным одиночеством, только взгляд его больших глубоких и задумчивых глаз и все грустное выражение маленького, изрезанного преждевременными морщинами лица, показывали и без слов, что нелегко ему живется на свете. О себе он, по обыкновению, ничего не говорил...»

Биограф Петра Борисова предполагает, что у этого несчастного человека произошла какая-то глубокая душевная драма, что он был не тот до своего

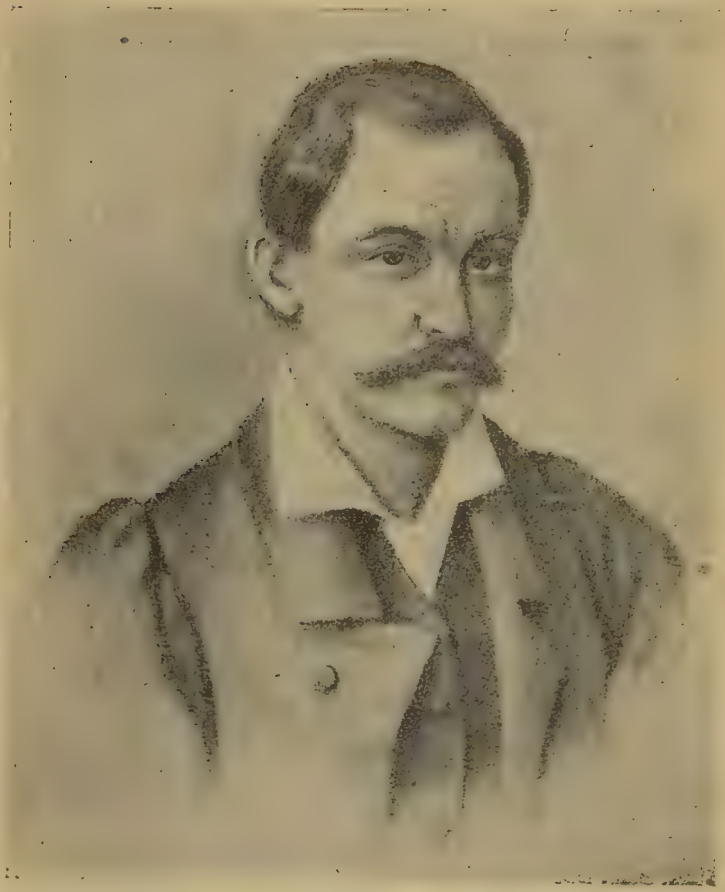
ареста, что он был полон энергии и страсти, но казематы, каторга и Сибирь сломили его волю и он затих, покорствуя судьбе. Возможно, что это замечание справедливо, но каков смысл этой душевной драмы? В чем разочаровался Борисов? Мы видим его сначала деятельным участником некоего тайного союза, созданного по типу масонских лож. Может быть этот союз находился в каком-нибудь отношении с всемирным масонским братством; может быть, он был связан с карбонаризмом; может быть, наконец, он возник и существовал сам по себе, следуя идеям и формам, которые вошли в тогдашнюю традицию. Пифагорова секта была маленькой пародией на весьма большой тайный союз, влиявший на ход истории.

Едва ли этот скромный артиллерийский поручик был значительным деятелем эпохи. Но он был так типичен, так характерен для своего времени! Случай выдвинул его, и мы теперь знаем его имя, но сколько таких поручиков осталось в безвестности. Они все читали масонские книги, потом Вольтера, потом, быть может, Монтескье, и эта амальгама вольнодумства, безбожия и таинственной эмблематики поражали юношеские и незрелые умы. Более образованные, богатые, знатные, хотя и следовали по тем же путям, не так уже рабски преклонились пред буквою открытого ими «закона». Не то Соединенные Славяне. Они, и первые среди них братья Борисовы, поверили в то, что им открылась величайшая тайна для спасения человечества от тиранов, несправедливости и нищеты.

Могильный сумрак окутал душу несчастного Петра Борисова не только потому, что страшно и тяжко жить человеку в руднике, в цепях, в тюрьме и даже в нищей и дикой глуши, но и потому, что все эти Вольтеры и Гельвеции и масонские клятвы на кинжалах не заполнили душевной пустоты. Брат

сошел с ума. Но и сам Петр Иванович похож весьма на меланхолика в своем безбожном аскетизме. Только однажды в его монотонной сибирской жизни промелькнуло что то похожее на страсть. Но и эта страсть окончилась трагикомически. Среди ссыльных появился некий врач Ильинский. Он был еще менее образован, чем Борисов, но он так же был «маленьким философом». Это сблизило их. Умирая в чахотке, он взял слово с своей молоденькой и хорошенькой жены, что она или вовсе не выйдет замуж, или выйдет за единственного, по его мнению, достойного человека—Петра Ивановича Борисова. Повидимому, наш герой влюбился во вдову своего поклонника. Они по долгу беседовали, избирая для прогулок кладбище. Здесь, при свете луны, Борисов учил свою возлюбленную своей сомнительной философии. В конце концов они дали друг другу слово сочетать свои жизни. Но легкомысленная прелестница изменила своему меланхолическому поклоннику. Нашелся молодой и решительный обольститель, который не тратил времени на отвлеченную философию.

Петру Ивановичу Борисову пришлось попрежнему делить свое уединение с сумасшедшим братом. Однажды, зарисовывая какие-то цветы, он склонился на картон, выронил из руки кисть и его сердце перестало биться навсегда. Брат долго не мог понять, что случилось, а когда уразумел, схватил бритву, но горла не дорезал; побежал окровавленный к себе за перегородку, где были обрезки переплетов, и зажег их. Задыхаясь от дыма, выскочил он на двор и повесился под навесом. Крестьяне, сбежавшиеся на пожар, нашли мертвыми обоих братьев.



Михаил Сергеевич Лунин.

М. С. Лунин.

I.

Когда Лунин, поссорившись с отцом, бежал на Запад, корабль, на котором он плыл, бросил якорь в Зунде, против Эльсинора. Была поздняя осень. Дул холодный северный ветер. Седые волны шумели дико и мрачно. Но Лунин все-таки потребовал шлюпку и поехал на берег. Ему непременно хотелось забраться на вал крепости. Еще бы! Ведь здесь меланхолического датского принца посетил выходец с того света, требуя, чтобы он, взяв меч, не уклонялся от борьбы. Коронованный мертвец внушил Гамлету мысль о возмездии. Лунин тоже готовил себя к какому-то неясному для него самого подвигу. Может быть, он мечтал среди скал Эльсинора услышать подобно Гамлету, вещий и таинственный голос, предсказывающий трагический путь героя. Эта была одна из тех прихотей Лунина, которые создали о нем затейливую и загадочную легенду. Лунин—легендарный человек. И странное дело, чем больше читаем воспоминаний о нем или даже его собственных записок, тем все далее и далее отходит от нас прозаическая и простая основа его биографии, тайна нисколько не разоблачается, а напротив, возникает мысль, что легендарность в его судьбе и в его характере как раз и есть основная черта этой незаурядной личности.

Вот случай, когда педантичная придирчивая критика источников не поможет выяснению истины,

а напротив, сделает безнадежной попытку осмыслить и определить характер нашего героя. В легендах всегда есть доля истины, ибо они слагаются не случайно. Личность дает повод для той или иной выдумки. Даже явный анекдот бывает иногда не бесполезен.

И если нелегко воспользоваться фантастическими рассказами мемуаристов, когда авторы противоречат друг другу, то в данном случае этих затруднений почти нет, ибо все многообразные рассказы о Лунине все-таки по существу однородны, они друг друга не исключают, а дополняют. Очевидно, бывают полезные легенды, как бывают полезные рабочие гипотезы.

Однако, надо начертить схему достоверных событий из жизни Лунина. Эта схема такова.

Михаил Сергеевич Лунин родился в 1788 году в родовитой и чрезвычайно богатой семье. Его отец, Сергей Михайлович Лунин, был женат на Феодосье Никитичне Муравьевой, сестре М. Н. Муравьева, чьи сыновья и, значит, двоюродные братья Михаила Лунина, были членами Тайного Общества.

Лунина учили и воспитывали иностранцы—англичанин Форстер, французы Вовилье и Кортье, швед Кирульф и швейцарец Малерб. На вопрос следователя, когда и как он заразился свободомыслием, Лунин отвечал, что свободный образ мыслей образовался в нем с тех пор, как он начал мыслить, «к укреплению же оного способствовал естественный рассудок». Это признание ироническое и надменное, с любопытной ссылкой на «естественный» рассудок, напоминает нам, что Лунин родился в XVIII в. и, что идеи Руссо о природной правде и естественных добродетелях не были чужды и Лунину, несмотря на его беспокойный ум и даже несмотря на то, что он, Лунин, был обращен в католичество, если ве-

рить его показаниям 1841 года, еще в отрочестве, одним из своих педагогов—аббатом Вовилье, кажется иезуитом.

Итак, уже в юные годы Лунин пользовался особой привилегией свободы и независимости: он не знал школьной дисциплины, педагогической рутины и казенного воспитания. Примечательно и то, что среди своих учителей он на допросе 1826 года не назвал ни одного русского. Очевидно, если такой и был, он был менее ему памятен, чем иностранцы. По-русски Лунин до конца своих дней писал плохо. О русской бытовой народной жизни имел. вероятно, смутное представление, а дух православия был ему и вовсе чужд: ни народа, ни его духовной жизни без языка не узнаешь никак.

В 1805 году Лунин был зачислен в Кавалергардский полк. Это ведь была эпоха третьей коалиции против Франции, эпоха Аустерлица и наполеоновской славы, «священная Римская Империя» распалась;—события с головокружительной быстротой сменялись одно другим на кровавой арене европейской истории. Лунин участвовал в боях и был неоднажды ранен. Не меньшее влияние оказали на него, вероятно, те нравственные раны, которые он получил, наблюдая нашу «ретираду», казавшуюся ему бесславной. Растерянность в штабе, интендантские безобразия, мародерство солдат и, как следствие этого, угроза нашему национальному достоинству—все это не могло не смутить молодого человека, который чувствовал себя патриотом, несмотря на учителей иностранцев. Все эти Вовилье, Кортье, Форстеры и Малербы едва ли могли внушить своему питомцу «любовь к родине», за то, повидимому, французы-эмигранты успели ему внушить ненависть к «узурпатору», который, по их представлению, был воплощением якобинства. Вот почему, должно быть,

Лунин серьезно предлагал начальству послать его к Наполеону парламентером с тем, чтобы, подавая «узурпатору» бумагу, всадить ему в бок кинжал. Под изголовьем Лунин хранил даже для сего предназначенный какой-то особенный страшный кривой кинжал, который он показывал своему товарищу по походному шалашу, Н. Н. Муравьеву. Впрочем, неизвестно, когда именно у Лунина созрел этот план «убийства тирана». Из этого нашего отступления 1806—1807 годов на Лунина произвела сильнейшее впечатление та ночь, которую он провел с императором Александром, в качестве дежурного ординарца. Наша армия была разбита под Фридландом. Мы отступили за Неман. В эту ночь порядок и дисциплина были нарушены. Измученные, голодные, продрогшие солдаты не замечали начальников. Всем было все равно. У всех была только одна мысль—отдохнуть, поесть и обсушиться. Целые деревни были разобраны на костры. «Едва могли отстоять одну избушку, чтобы было где укрыться на ночь государю»... Но и эта избушка была почти разрушена. Сени были разломаны, сорваны ставни... Лунин дежурил около наскоро сбитой из досок перегородки, за которой сидел Александр, утешавший прусского короля, совсем смущенного и подавленного. Ждали, что Наполеон двинет войска через Неман, и никто не спал. В избу входили беспрестанно генералы и адъютанты с донесениями. Об этикете и дисциплине теперь уже никто не думал. А вокруг избы шумели солдаты, и крики иногда становились такими зловещими, что царь посылал узнать, что случилось. Наконец, раздался над головой страшный и непонятный треск. Лунин выбежал на крыльцо и увидел, что солдаты ломают крышу, чтобы тащить ее в костры...

Повидимому, все эти испытания в дни военных удач и неудач; весь этот вдруг обнаружившийся

внутренний ущерб нашего военного быта; вся эта официальная ложь—все это не прошло бесследно для Лунина, свидетеля 1812 года, участника Отечественной войны. И, однако, если критическое отношение к нашей государственности уже складывалось в душе Лунина, в нем все-таки в этот первый период его жизни был такой огромный избыток сил, что он едва ли мог сосредоточиться исключительно на отрицательном отношении к старому порядку. Ему как будто мало было битв и опасностей войны; он искал случая встретиться со смертью лицом к лицу даже тогда, когда обстоятельства этого не требовали. Н. Н. Муравьев, в своих воспоминаниях о 1812 годе, рассказывает о своей встрече с Луниным под Смоленском: «Смоленск был перед нами, а за ним на глазах наших происходило сражение. Зрелище было великолепное. Мне очень хотелось побывать в сражении, но корпус наш не трогался, и мало оставалось к тому надежды. Посему я решился с'ездить в дело без позволенья. Прекратившийся ночью огонь, с утра опять начался. Я встал до рассвета, когда у нас все еще спали. Оседлав себе лошадь, я поехал в город. Осмотрев его, я следовал далее к Краснинской заставе. Тут я встретил Лунина, возвращавшегося из дела. Он был одет в своем белом кавалергардском колете и в каске; в руках держал он штуцер; слуга нес за ним ружье. Поздоровавшись, я спросил его, где он был.—«В сражении,»—коротко отвечал он.—«Что там делал?»—«Стрелял и двух убил». Он в самом деле был в стрелках и стрелял, как рядовой. Кто знает отчаянную голову Лунина, тот ему поверит»...

Но и этого Лунину было мало. Он непрестанно дрался на дуэлях. Нередко поводы для его поединков казались странными и неожиданными. Так, однажды А. Ф. Орлов, в присутствии Лунина, не с ним,

однако, разговаривая, высказал некое мнение, прибавив, что всякий честный человек не может думать иначе. Тогда Лунин посоветовал ему взять свои слова назад, ибо «можно быть вполне честным человеком и, однако, иметь совершенно иное мнение». Этот запальчивый разговор кончился поединком. «Положено было стрелять до трех раз, сближая каждый раз расстояние. Все знали, что Лунин был отличный стрелок. Первым выстрелил Орлов и разнес перо на шляпе Лунина; Лунин выстрелил в воздух; Орлов еще более разгорячился и закричал: «Что же это ты! Смеешься, что ли, надо мною?»—подошел ближе и, долго прицеливаясь, вторым выстрелом сбил эполет у Лунина; Лунин вторично выстрелил в воздух, тогда как не только он, но и плохой стрелок, если бы действовал только хладнокровно, а не горячился, как Орлов, мог бы убить Орлова на таком коротком расстоянии. Тут Орлов опомнился и, бросив свой пистолет, кинулся Лунину на шею».

Дуэли наполняли жизнь Лунина. Он не брезговал также ни вином, ни любовными приключениями. Пушкин назвал его «другом Марса, Вакха и Венеры». С начальниками, которые ценили в Лунине храброго и умного офицера, нередко происходили у него столкновения. Любопытны его отношения с вел. князем Константином Павловичем, который, командуя гвардией, замучил офицеров и солдат требованиями соблюдать в походе установленную форму, весьма неудобную. Однажды, Константин Павлович, в припадке гнева наговорил кавалергардам таких грубостей, что офицеры всех чинов подали в отставку. Тогда великий князь, смягчившись, сделал смотр и публично принес извинения, признав себя неправым, при чем сказал, что готов дать и личное удовлетворение тому, кто будет не удовлетворен его объяснением. Тогда из фронта выступил Лунин и

хладнокровно заявил: «Ваше высочество изволили сейчас предложить личное удовлетворение. Позвольте мне воспользоваться такой великою честью». Константин Павлович, улыбаясь, сказал, что Лунин для этого еще слишком «молод». Эта выходка Лунина, кажется, понравилась великому князю, и впоследствии у них создались отношения довольно близкие.

В 1815 году одна из очередных дуэлей Лунина окончилась не совсем благополучно. Он был тяжело ранен: пуля засела в паху, и пришлось делать трудную операцию. Кроме того, материальные дела Лунина были запутаны: гвардейцу кавалергарду, с репутацией миллионера, приходилось жить широко, а между тем отец давал деньги скупо, вовсе не считаясь с капризами и причудами своего беспокойного сына. В конце-концов кредиторы стали слишком назойливы, и надо было подумать об устройстве своих дел. Но, главное,—Лунину было тесно и душно в окружавшей его среде. С ним считались потому, что он был бреттер и гуляка, потому, что он был хороший товарищ и щедрый человек,—и он шутил, острил, кутил и делал все, что полагалось делать в то время «золотой молодежи», тая от всех свой внутренний мир, не совсем обыкновенный.

В это время, некто Ипполит Оже, молодой парижанин, которого наши гвардейцы вывезли в 1814 году из Франции и устроили на русской службе, познакомился с Луниным и оставил нам о нем свои воспоминания. Ипполит Оже был посредственный стихотворец, получивший впоследствии некоторую известность, как драматург. Этот восемнадцатилетний юноша, повидимому, пользовался одно время покровительством Лунина. В мемуарах Оже есть кое-что любопытное и ценное для характеристики будущего декабриста.

«Когда я познакомился с Луниным,—пишет Оже,—ему было лет двадцать шесть... Его бледное лицо, с красивыми, правильными чертами, носило следы страданий. Спокойно насмешливое оно иногда оживлялось и также быстро снова принимало выражение невозмутимого равнодушия; но изменчивая физиономия выдавала его больше, чем он желал. В нем чувствовалась сильная воля, но она не проявлялась с отталкивающею суровостью, как это бывает у людей дюжинных, которые непременно хотят повелевать другими. Голос был у него резкий, пронзительный; слова, точно сами собой, срывались с насмешливых губ и всегда попадали в цель. В спорах он побивал противника, нанося раны, которые никогда не заживали; логика его доводов была также неотразима, как и колкость шуток. Он редко говорил с предвзятым намерением; обыкновенно же мысли, и серьезные, и веселые, лились свободной, неиссякаемой струей; выражения являлись сами собой, не придуманные, изящные и замечательно точные. Он был высокого роста, стройно и тонко сложен, но худоба его происходила не от болезни: усиленная умственная деятельность рано истощала его силы. Во всем его существе, в осанке, разговоре сказывались врожденное благородство и искренность. При положительном направлении ума, он не был лишен некоторой сентиментальности, жившей в нем помимо его ведома: он не старался ее вызвать, но и не мешал ее проявлению. Это был мечтатель, рыцарь, как Дон-Кихот... Хотя я с первого раза не мог оценить этого замечательного человека, но наружность его произвела на меня чарующее впечатление. Рука, которую он мне протянул, была маленькая, мускулистая, аристократическая; глаза неопределенного цвета, с бархатистым блеском, казались чер-

ными; мягкий взгляд обладал притягательною силою»...

У каждого крупного человека есть свой «Эккерман». У Лунина роль Эккермана исполнял Ипполит Оже. Впрочем, этот юный француз был менее скромен, чем автор «Разговоров Гете»,—и все же нельзя не пожалеть, что Оже общался с Луниным всего лишь два года. Лунин не скупился на парадоксы, дразня молодого стихотворца. Оказывается, наш денди говаривал, что он, Лунин, «любит поэзию, но враг стихов». Этот парадокс надо было принять, не смущаясь. Иные замечания Лунина свидетельствуют, что он и в стихах понимал толк. «Я знаком,—говорил Лунин—со всеми замечательными произведениями французской литературы, но люблю только стихи Мольера и Корнеля за их трезвость; рифма у них не служит помехою. В прозе же Шатобриана, наоборот, я все ищу рифмы и не нахожу, конечно: оттого я и не люблю ее».

Лунин любил музыку и думал, что она значительнее и богаче всех искусств. «Сравнивать поэзию с музыкой—да разве это возможно? Музыка свободна, она может быть и туманной, и вполне ясной; поэзия, т. е. стихи, всегда связана; ей выбора нет, она всегда туманна, даже когда желает быть ясной. Я тоже поэт, но поэт без слов»... Лунин был музыкален и его импровизации производили на слушателей большое впечатление. Однако, он не сделался композитором, предпочитая роль диллетанта и денди. Но своему юному наперснику, он давал советы, достойные мэтра: «Вы недурно пишете стихи, мой юный друг,—говорил он:—только если хотите подражать, то подражайте Мольеру и Корнелю, но никак не Парни»... Лунин давал советы и житейские, но, кажется, не так удачно, как литературные. Он уже и тогда не скрывал своего отвращения к ветхому-

быту. «Знаете ли,—говорил он,—что мне иногда приходит в голову. Хорошо было бы отправиться в Южную Америку к взбунтовавшимся молодцам...

Вы—француз, следовательно, должны знать, что бунт—это священнейшая обязанность каждого».

Юный француз был заворожен Луниным. «Его огненная фантазия, стремившаяся за пределы существующего,—пишет Оже,—неудержимо увлекала и меня в мир призраков, к цветущим берегам неведомой страны: мы носились в пространстве,—то поднимались под небеса, то опускались в самую глубину земли. Способности его были блестящи и разнообразны: он был поэт и музыкант и в то же время реформатор, политико-эконом, государственный человек, изучивший социальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями. Таков был этот необыкновенный человек».

Но жизненные обстоятельства этого «необыкновенного человека» к тому времени сложились не совсем удачно.

По возвращении гвардии в Петербург, Лунин, будучи старшим ротмистром в полку, должен был ожидать производства в полковники. Но производства все не было, и Лунин обратился за раз'яснениями к тогдашнему начальнику штаба П. М. Волконскому. Генерал открыто об'яснил Лунину, почему затормозилось производство по их полку. Царь не хотел произвести беспокойного и странного Лунина в чин полковника, но так как по службе он был безупречен, никак нельзя было его обойти, двинув производство младших офицеров. Лунину ничего не оставалось, как выйти в отставку. Но строптивый кавалергард об'явил, что, если он неприятен, ему придется уехать за-границу, как изганнику, а прошения об отставке он не подаст, не имея на то никаких личных побудительных причин». Впрочем, это сообще-

ние несколько сомнительно. На самом деле причины были: его долги.

Отец с трудом согласился удовлетворить кредиторов сына и снабдить его небольшой суммой на дорогу.

Поездку в Южную Америку пришлось отложить. Было решено, что Лунин едет в Париж. У него не было определенного плана жизни. Если верить Оже, он произнес перед отъездом пламенный монолог, причем закончил его так: «Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на свете. Свобода!..»

22 сентября 1816 года Лунин вместе с Ипполитом Оже сел в Кронштадте на трехмачтовый корабль «Верность», который должен был отплыть в Гавр. Богач отец, решительно отказывавшийся помогать сыну, в последнюю минуту почувствовал к нему прилив нежности и приехал в гавань проститься. Он привез сыну в подарок ящик с бутылками портера и рома. Прощаясь, он благословил Мишеля, пролив слезу. Когда берег исчез в тумане, матросы на палубе запели Veni Creator и все стали на колени. Это— по свидетельству Оже,—растрогало Лунина. Спутник нашего соотечественника вел на корабле дневник. Он продолжал записывать тогдашние афоризмы и парадоксы вольнодумца, от которых Лунин впоследствии, вероятно, охотно бы отказался. Вот некоторые из этих рискованных парадоксов: «Одно честолюбие может возвысить человека над животною жизнью».—«Тот, кто может повелевать, и тот, кто должен слушаться,—существа разной породы». —«Семейное счастье,—это прекращение деятельности, отсутствие, так сказать, отрицание умственной жизни».—«Весь мир принадлежит человеку дела; для него дом только временная станция, где можно отдохнуть телом и душой,—чтобы снова пуститься далее».

Третьего октября путешественники претерпели бурю. Корабль бросало из стороны в сторону. Волны заливали палубу. Пришлось сидеть в каюте. Там было душно и, когда наступала на мгновение тишина, казалось, что корабль идет ко дну. Иногда, среди стенаний бури, слышались голоса матросов, которые пели католические молитвы: это могло бы служить символом будущей судьбы заговорщика и мятежника, который сквозь бурю восстания, пришел к алтарю, приняв покорно римский катехизис из рук иезуитов.

И вот, наконец, Лунин и его спутник в Париже; это было в 1816 году. Здесь, как и во всей Европе, торжествовал принцип легитимизма. Людовик XVIII и его правительство уже третий год старались убедить нацию и самих себя, что в сущности никакой революции не произошло, что все это недоразумение, что истинные французы и роялисты одно и то же. Сто Наполеоновских дней не более как страшный сон, и Бурбоны—как выражался Бенжамен Констан—«Неоспоримая династия». Талейран был в отставке. Приятель императора Александра, герцог Ришелье, был назначен министром-президентом. Католицизм проповедывали не только монахи, но и светские писатели. Предсказания Дидро, что после великих политических и социальных потрясений, когда народы начнут дышать, поэты создадут новый необычайный мир загадочной и страшной красоты, отчасти оправдалось: возник романтизм. Шатобриан владел сердцами. Нашел в себе апологета и папизм в лице Жозеф-де-Местра. Но в то время, как цвела так пышно поэзия и философия реакции, в подполье бродили мысли и настроения, которые в конце-концов привели общество к созданию тайных союзов, к карбонаризму, к обновленному масонству, а в лице Сен-Симона и его учеников к социальному утопизму. А пока, на перепутье, в салонах забавлялись «магнетиз-

мом» и всякого рода оккультизмом. Кажется, все эти волны, порожденные революцией и контр-революцией, носили на своих гребнях утлый житейский челн Лунина. Эта жизнь в Париже, где он с равным вниманием слушал декламацию романтиков, диалектику иезуитов и страстные речи утопистов, не прошла для него бесследно.

Но Лунину предстояла в Париже тяжелая борьба за существование. Его спутнику, Ипполиту Оже, казалось странным, что блестящий кавалергард, швырявший в Петербурге деньгами, теперь так озабочен вопросом о пропитании. «Где же мы остановимся?— сказал Лунин, когда дилижанс миновал парижское предместье,—мы должны сообразоваться с нашими средствами, чтобы не очутиться в безвыходном положении... Мне нужна только комната, кровать, стол и стул; табаку и свеч хватит еще на несколько месяцев. Я буду работать: примусь за своего Лже-Димитрия. Может быть, я и в состоянии зарабатывать пером насущный хлеб».

Итак, оказывается, Лунин намеревался записаться в цех литераторов. Писать он будет по-французски, ибо по-русски писать он не умеет как следует, при чем он себя утешает тем, что пока еще нет будто бы литературного русского языка. Правда, Карамзин, Батюшков, Жуковский и другие уже сделали некоторые попытки... «также и наше восходящее светило юноша Пушкин. Все это много обещает в будущем, но для меня важно настоящее».

Оже влагает в уста Лунину следующее признание: «Я, конечно, неученый; но, может быть, меня хватит на то, чтобы сделаться беллетристом-литератором. Я задумал исторический роман из времен междуцарствия: это самая интересная эпоха в наших летописях и я поставил себе задачей уяснить ее».

Хотя история Лже-Димитрия и носит легендарный характер, но все-таки это пролог к нашей тя-

перешней жизни. И сколько тут драматизма! Я все обдумал во время бури».

Лунин и Оже наняли две комнаты на улице Гальон. Обедать они ходили за общий стол в том же доме. Денди великосветских салонов скромно делил трапезу с конторщиками и студентами, а когда бывал в гостях, покорно спешил вернуться домой до полночи, чтобы не будить привратника. Деньги скоро вышли и Лунин зарабатывал несколько десятков франков то уроками музыки, то переводами с английского.

25-го октября Лунин получил из Петербурга письмо от сестры, которая была замужем за Ф. А. Уваровым. Она писала о том, что она любит брата, что он прекрасный человек и что у него есть только один недостаток—«неугомонная страсть рыскать по белу свету».

Оже уехал к родителям на некоторое время и там получил от Лунина письмо, помеченное 5-м ноября.

Лунин писал: «Мой милый Ипполит! Мне не следовало вам писать, потому что хорошего мало. Здоровье мое расстроилось: я не могу встать с постели. Свечи я все сжег, дрова тоже, табак выкурил, деньги истратил, а между тем наступил срок платежей. Вот в каком мы положении. Унывать не следует, но не мешает подумать, как бы помочь беде. Вы, конечно, знаете, что мне было бы тяжело расстаться с вами; может быть, придет время, когда мы в состоянии будем привести в исполнение свои планы. В России я не затруднился бы найти средства, но здесь другое дело. Я вижу, что мне предстоит на этот год трудная жизнь, и я бы не желал подвергать вас той же участи»... Далее Лунин преподает своему наперснику ряд практических советов, а заканчивает свое письмо так: «Что же касается до меня, то я уже начал приискивать себе место. Всякий труд почтенен, если он приносит пользу отечеству. Великий Эпаминонд

был надсмотрщиком водосточных труб в Фивах. И я тоже могу заниматься каким-нибудь ремеслом. Фортуна найдет меня и там в моем скромном убежище, как некогда римские послы нашли добродетельного Цинцината. Тогда мы опять соединимся и уедем в милую Россию, которую я все-таки люблю, несмотря ни на что»...

Оже не послушался благоразумных советов и опять поселился в Париже в квартире Лунина. Они стали посещать салоны, где говорилось об искусстве и литературе. Они бывали у мадам Роже, у Софьи Галь. Последняя занималась музыкой и это дало повод Лунину высказать свое мнение о музыке французской. Он находил ее легкой и довольно приятной, но она не давала ему настоящего удовлетворения. Лунин припоминает, как однажды в Петербурге, в доме его сестры, играли братья Вьельгорские: «Вот это была музыка! Мы не знали, где мы, на небе или на земле; мы забыли все на свете». Сочинитель этот еще не пользовался большою известностью; многие даже не признавали в нем таланта. Это был Бетховен»...

Итак, если верить Оже, Лунин в 1816 году угадал гения в юном Пушкине и понял значительность Бетховена, когда далеко не все ее сознавали.

Сам Лунин продолжал писать свой исторический роман. Оже был знаком с Шарлем Брифо, стихотворцем и литератором, и он понес к нему рукописи своего друга. Брифо сказал: «Ваш Лунин—чародей! Мне кажется, даже Шатобриан не написал бы лучше»...

Однако, Лунин не кончил своего романа. Повидимому, он был занят теперь чем-то другим, более важным, с его точки зрения. Его приятель, автор записок, не без основания предполагает, что, именно, в это время у Лунина завязались сношения с руководи-

телями тайных обществ, может быть, масонских, которые вовсе не мирились с реставрацией. Для биографа Лунина остается неразрешимой загадкой, каким образом он, католик, мог связать свою судьбу с тогдашними вольнодумцами и заговорщиками. Остается предположить, что сознательным и последовательным католиком Лунин стал позднее, когда он жил в Варшаве и общался с польскими иезуитами. Когда Лунин, стоя на коленях перед окошечком исповедальни, сообщил ксендзу свои антидинастические и революционные замыслы, едва ли его духовник строго осудил его за это. Польские иезуиты вовсе не были заинтересованы в том, чтобы восточные самодержцы прочно сидели на своем высоком троне.

В Париже Лунин вообще ничем не брезговал. Он интересовался магнетизмом, теорию которого излагал аббат Тария; он высказывал свои мнения о Сен-Мартене и Сведенборге и, кажется, занимался оккультизмом даже практически. В ту самую ночь, когда умер его отец, Лунину приснился он мертвый, о чем суеверный вольнодумец тотчас же записал в дневнике.

Однажды, когда Лунин возвращался из гостей домой, он увидел толпу своих товарищей по квартире, которые в волнении сообщили ему необычайную новость. К «мосье Мишелю» приезжал «сам» Лафитт и оставил ему свою карточку. Этот визит знаменитого банкира поразил воображение квартирной хозяйки, которая, угадав возможную перемену в фортуне своего жильца, поспешила приготовить торжественный обед и посадила рядом с Лунином свою дочку. В самом деле на другой же день выяснилось, что нищий Лунин оказался миллионером: после смерти отца ему досталось большое наследство.

Лунин уехал в Россию. «Если бы он остался во Франции,—пишет Оже,—то с его умом и честолю-

бием он наверно стал бы во главе какого-нибудь тайного общества, был бы ярым приверженцем карбонаризма, этого предшественника интернационалки. Десять лет спустя, Бюше, один из главных деятелей, сказал мне, что в их совещаниях участвовал какой-то русский; я думаю, что это был Лунин». Это предположение очень похоже на правду. Бюше ранее близкий Сен-симонизму, а впоследствии тяготевший к социальному утопизму, который у него своеобразно сочетался с католицизмом—такой человек мог заинтересовать Лунина, заговорщика и католика.

Если связи Лунина с Бюше еще не доказаны, то едва ли есть основание сомневаться в том, что Лунин успел познакомиться с Сен-Симоном. Ипполит Оже подробно описывает последнее свидание с ним Лунина. Конечно, Оже, писавший свои воспоминания много лет спустя после того, как он был свидетелем этого случая, не мог точно воспроизвести диалог этих замечательных людей, и в его изложении разговор кажется мало содержательным, но самый факт так своеобразен, что воображение невольно подчиняет себе скептическое чувство—и видишь, и слышишь этих двух гениальных сумасбродов, тогда, в 1816 году, еще не успевших, впрочем, сказать свои последние и знаменательные слова.

II.

Вернувшись из Парижа, Лунин тотчас же нашел в близкой ему среде людей, недовольных политикой императора Александра. Эти люди были нужны Лунину. Дух карбонаризма в Петербурге влиял на умы не менее, чем в Париже. Возможно, что Лунин привез из Европы какие-нибудь директивы и сообщения, касающиеся революции вообще. Во всяком случае он был желанным товарищем в деле разрушения старого порядка. Московские и Петербургские масо-

ны были чрезвычайно враждебно настроены к царю Александру. Они не могли ему простить того, что, будучи в молодости соучастником «братства», он в конце царствования удалился от масонов, и, вероятно, готов был бы действовать против них решительно, если бы не суеверный страх перед незримым и тайным мстителем, который должен непременно явиться и покарать отступника. Воспоминание об участи отца не давало покою Александру. Нам точно неизвестно, в каких отношениях к масонству стоял Лунин, но Союз Спасения, как мы знаем, был устроен в духе масонского союза, а Лунин был в числе «бояр», вместе с Муравьевым, Пестелем, Трубецким, Шаховским, Глинкой и Новиковым. Цареубийство хотя и не входило, как нечто обязательное, в предначертания союза, однако, идея эта кем-то внушалась всем настойчиво. Трудно отрицать масонские влияния на Союз Спасения, а, признав их, придется признать так же, что масоны были заинтересованы собственно не столько в том, чтобы введена была конституция, сколько в том, чтобы устранен был так или иначе царь Александр. Был или не был Лунин масоном, но во всяком случае он казался подходящим человеком для опасной роли «режицида». Пестель на одном из допросов сообщил, что Михаил Лунин, в 1817 году, предлагал, когда наступит время действовать, послать на Царкосельскую дорогу несколько человек в масках и, захватив царя, убить его. Предводителем такого отряда должен был быть, конечно, сам Лунин. Такие же показания дал и Матвей Муравьев.

В сентябре 1818 года двор и гвардия прибыли в Москву. Сюда же приехали и Петербургские члены Общества—среди них Лунин. Здесь был принят устав Тугенд-Бунда и Общество получило название Союза Благоденствия или Зеленой Книги. 27-го мар-

та 1819 г. Михаил Сергеевич Лунин», «находясь в совершенном здоровье и полном разуме, но убежденный неизвестностью смертного часа, который постигнуть может и в самых молодых летах», решил написать завещание. В этом завещании, весьма любопытном—мы не видим Лунина, каким мы привыкли его видеть, своенравным и страстным мечтателем, постоянным искателем новой жизни и ревнителем какой-то загадочной идеи, утаенной им от мира. Можно было ожидать, что он завещает все свое состояние как-нибудь странно, например, римскому папе или, напротив, какому-нибудь великому фантазеру, хотя бы тому же Сен-Симону, или, что было бы естественно, передаст весь свой капитал, обойдя закон, Тайному Обществу. Но Лунин поступил иначе. Он поступил, как хороший помещик, как благоразумный хозяин, отчасти, может быть, и как просвещенный и гуманный человек своей эпохи, но ничего общего не имеющий с революцией. Ни карбонарии, ни иезуиты не повлияли на Лунина, когда ему пришлось решить вопрос о наследстве. Он, повидимому, был озабочен одним только—сохранить, не дробя, свое имение, поддержать благосостояние крестьян, закрепить за родом Луниных земельную собственность, и ему даже в голову не приходила возможность земельного передела, которого так твердо требовал Пестель. Лунин не был социалистом ни в каком смысле, несмотря на свои связи с некоторыми Парижскими социальными утопистами, у которых тогда в головах, хотя и смутно, бродили коммунистические идеи.

Крестьян Лунин завещал освободить *без земли*, всецело расчитывая на добросовестность своего двоюроднаго брата, Николая Александровича Лунина, которому он передал все состояние. Умри этот наследник, и «свободные» крестьяне оказались бы в полном экономическом рабстве у нового владель-

ца. После смерти наследника имение, по завещанию, должно было перейти старшему его сыну, а если такового не будет,—дочери, но с условием, чтобы будущий зять принял герб и фамилию Лунина. Лунин в конце своей духовной пишет: «Изложенное здесь, есть точно моя воля, коей цель есть освобождение от крепостного состояния и, вообще, устройство благосостояния крестьян и сохранение имения нераздельным в роде предков наших». Родная сестра Лунина, Екатерина Сергеевна, по смыслу завещания получала от доходов с имения небольшую часть—десять тысяч ежегодно. Это впоследствии дало повод ее мужу, Ф. А. Уварову, оспаривать завещание с непристойной запальчивостью.

Однако, Лунин, такой расчетливый хозяин, нисколько не расточивший имений своего скупого отца, а, напротив, умело ими распоряжавшийся (о чем свидетельствуют сохранившиеся отчеты управляющих Лунина), был вовсе не расчетлив, когда он действовал, как член Тайного Общества.

В январе 1820 года, в Петербурге, на квартире Федора Глинки, состоялось заседание Коренной Думы, на которое приехал Пестель. На этом заседании присутствовал Лунин. Обсуждался вопрос о будущей форме правления. После прений, за исключением Глинки, все высказались за республику. На частном собрании в казармах Преображенского полка, в квартире полковника Шипова, был поднят Пестелем и Никитою Муравьевым вопрос о способах к устранению императора. Лунин был и на этом собрании. Через год был принят в Союз Александр Поджио. У него была беседа с Луниным на ту же тему—о цареубийстве. Закрытие Союза Благоденствия, состоявшееся в 1821 году, и образование двух тайных обществ—Северного и Южного—было известно Лунину. Он не заявлял о своем выходе из общества,

но, повидимому, деятельность членов общества не совсем его удовлетворяла. Кажется, последнее свидание Лунина с заговорщиками состоялось в Тульчине, где Пестель и Никита Муравьев читали ему свои конституционные проекты. В 1822 году Лунин уехал в Царство Польское и опять надел военный мундир, удалившись от дел Тайного Общества. Надо думать, что Лунин был вполне искренен, когда на допросе 1826 года заявил: «я не имел того влияния на общество, которое хотел иметь и которое, я надеюсь, было бы не бесполезно»...

В Варшаве Лунин, отстранившийся от политики, жил полковою жизнью, по крайней мер, для постороннего наблюдателя. Один из свидетелей тогдашней его жизни рассказывает, как великий князь Константин Павлович спросил представлявшегося ему Лунина: «Ну, что, поумялся теперь от проказ?»— «Тогда мы, ваше высочество, молоды были»,—отвечал Лунин,—намекая не на одно свое прошлое. Тот же современник пишет в своих воспоминаниях: «Скоро, по ходатайству великого князя, Лунин был произведен за отличие в подполковники. Общих рассказов о Лунине после было немного; слышал только, что у него большая библиотека и еще больше свора собак, что он человек богатый и вел разгульную жизнь, что старшим никогда не успевал рапортовать о своей части, за то угощал по-гусарски. В замковую церковь Лунин чаще всего приезжал, что называется, к шапошному разбору, и приход его нередко вызывал замечания, что он уже после завтрака, к чему подавало повод и самое выражение лица, невольно возбуждалась мысль, что Лунин не чуждался удобств жизни». Тот же мемуарист так описывает наружность Лунина: «Это был мужчина высокого роста, русый, стриг голову довольно коротко, на лице волосы сбривал и имел привычку кусать нижнюю гу-

бу. Впрочем, выражение глаз давало разуметь, что у него голова поставлена на своем месте. В обращении со старшими Лунин, заметно, не стеснялся».

Лунину в 1822 году было тридцать пять лет. В год его ареста ему было 43 года. Значит, в Варшаве он прожил восемь лет. Несомненно, что в Польше он был окружен ксендзами. Здесь у него сложились окончательно его религиозные воззрения. Возможно, что один из доводов, которые он приводил себе в пользу католицизма, состоял в том, что это вероисповедание легко мирилось с отрицанием восточного самодержавия, тогда как этого нельзя было сказать об официальном православии. Другого, неофициального, православия Лунин не знал. Впрочем, он был настолько проницателен, что догадывался о глубоком равнодушии восточной церкви ко всякой власти вообще. Но он оценивал это равнодушие с католической точки зрения: «Греко-Российская церковь будет равно привержена ко всякому правительству, которое учредится в России,—писал Лунин в своем дневнике 1836 года.—Не имея в себе начал законной власти, она по необходимости должна покровительствовать предержащей власти, но она препятствует водворению представительного порядка вещей, который повсюду развился под влиянием католицизма». Последнее рискованное утверждение Лунин оставляет без доказательств и об'яснений. Оно ему нужно, чтобы оправдать себя—свою связь с Тайным Обществом, и в то же время, приверженность папизму.

Правда, связь с заговорщиками с каждым годом становилась слабее. Лунин делит свою жизнь между страстными и суетными делами гусаров—попойками, охотой, службой—и тем религиозным романтизмом, который соблазнял его в католическом культе. «Католическая религия воплощается, так сказать, в женщинах,—писал он впоследствии.—Она дополняет

прелесть их природы, возмещает их недостатки, украшает безобразных и красивых, как роса украшает все цветы. Католичку можно с первого взгляда узнать среди тысячи женщин по осанке, по разговору, по взгляду. Есть нечто сладостное, спокойное и светлое во всей ее личности, что свидетельствует о присутствии истины. Последуйте за ней в готический храм, где она будет молиться; коленопроклоненная перед алтарем, погруженная в полумрак, поглощенная потоком гармонии, она являет собою тех посланцев Неба, которые спускались на землю, чтобы открыть человеку его высокое призвание. Лишь среди католичек Рафаэль мог найти тип Мадонны»...

В эти годы у Лунина было любовное увлечение какой-то прекрасной католичкой. Спустя десять лет из сибирской ссылки он пишет сестре: «Дорогая сестра! После долгого заключения в казематах память производит лишь неясные и бесцветные образы, подобно планетам, отражающим лучи солнца, но не передающим его теплоты. Однако, у меня сохранились сокровища в прошедшем. Помню наше последнее свидание в галлерее N-ского замка. Это было осенью, вечером, в холодную и дождливую погоду. На *ней* черное тафтяное платье, золотая цепь на шее, а на руке браслет, осыпанный изумрудами, с портретом предка, освободителя Вены. Ее девственный взор блуждал вокруг, как будто следил за причудливыми изгибами серебряной тесьмы моего гусарского долмана. Мы шли вдоль галлереи молча; нам не нужно было говорить, чтобы понимать друг друга. Она казалась задумчивой. Глубокая грусть проглядывала сквозь двойной блеск юности и красоты, как единственный признак ее смертного бытия. Подойдя к готическому окну, мы увидели Вислу: ее желтые волны были покрыты пенистыми пятнами. Серые облака пробегали по небу, дождь лил ливнем, деревья в пар-

ке колыхались во все стороны. Это беспокойное движение в природе без всякой причины резко отличалось от глубокой тишины вокруг нас. Вдруг удар колокола потряс окно, возвещая вечерню. Она прочла Ave Maria, протянула мне руку и скрылась. С этой минуты счастье в мире исчезло также. Моя жизнь, потрясенная политическими бурями, обратилась в безпрерывную борьбу с людьми и обстоятельствами. Но прощальная молитва была услышана. Душевный мир, которого никто не может отнять, последовал за мною на эшафот, в темницу и ссылку. Я не жалею ни об одной из своих потерь. Правнучка воина является мне иногда в сновидениях, и чувство, которое бы ей принадлежало исключительно, растет и очищается, распространяясь на моих врагов. Твой любящий брат М.» Мы не знаем, кто эта прекрасная дама, в которую был влюблен Лунин. Из намека, брошенного в его письме, можно предположить, что это была правнучка Иоанна Собесского, который, как известно, спас Вену, осажденную в 1683 году армией Кары-Мустафы. Но кто бы она ни была, из тона Лунинского письма видно, что он был в нее влюблен романтически, и, может быть, не только ксендзы, но и эта прелестная полька внушила ему совершенную уверенность, что нет спасения вне римско-католического вероисповедания.

И вот, когда Лунин, завороженный любовью и звуками католического органа, охладел к Тайному Обществу, пришла весть о смерти императора Александра, о восстании на Сенатской площади, о бунте Черниговского полка... Наконец, царь Николай, ведя следствие по делу декабристов, обратил внимание на причастность Лунина к Тайному Обществу. Послана была официальная бумага в Варшаву, к вел. кн. Константину Павловичу, у которого Лунин состоял ад'ютантом. Костантин Павлович любил Луни-

на и ему очень не хотелось выдавать своего любимца. По этому поводу возникла интересная переписка между великим князем и Ф. П. Опочининым, близким ему человеком, который живя в Петербурге, при дворе исполнял все поручения Константина Павловича.

26-го января (6 февраля) 1826 года великий князь писал: «Не для оправдания сего подполковника Лунина, но единственно потому, что его императорскому величеству благоугодно, чтобы я говорил правду и открывался перед его величеством со всем моим чистосердечием, не могу я не обратить внимания на положение оного Лунина. Статься могло, что он, находясь в неудовольствии противу правительства, мог что-либо на счет оного говорить, как случается сие не с одним им,—*даже его императорское величество изволит припомнить, что мы сами иногда между собою, сгоряча не одумавшись, бывали, в подобных случаях, не всегда в речах умеренными;* но это еще не означает какого-либо вредного намерения. Винить его в том, что он знал о тайном обществе и не донес тогда правительству, хотя можно, но надобно принять в соображение и то, что в оное, ,как теперь открылось, столько входило двоюродных и троюродных братьев и других родственников его, а равно и то, был ли бы он в состоянии, донесши правительству, доказать? Он, Лунин, отстав в 1821 году от тайного общества и служа в литовской уланской дивизии, и, наконец, здесь, не имел уже с вышеописанными своими братьями и родственниками никаких сношений по тайному обществу; но они, вероятно, оговаривают его из злости, для того, чтобы его запутать и очернить за то, что отстал. Еще повторяю, что не имею намерения оправдывать и щадить Лунина, но надо иметь и доказательства вины...» «В заключении присовокупляю, что ежели последует высочайшая воля его императорского ве-

личества, то я вследствие оной тотчас прикажу под полковника Лунина арестовать и отправить в С.-Петербург».

Это письмо Опочинин показал царю и на нем Николай сделал пометку: «Никакой нет надобности. Здесь он не принесет пользы, там может быть полезен».

Однако, в письме от 16 (28) февраля того же года, Константин Павлович еще раз возвращается к делу Лунина: «Относительно подполковника Лунина, что государь император изволил отозваться, что нет никакой надобности отсылать его в С.-Петербург, а может быть он полезен в Варшаве при открывшихся обстоятельствах, и что в соучастии к тайному обществу ясных доказательств других не может быть, как показания сообщников, ибо самое общество так учреждено, что в оных письменного производства нет, и даже познание членов между собою не простирается более восьми, и в пример, каким образом сие производилось в действиях, начертили фигуру. Я на сие скажу вам, что каким порядком организовались такие общества, это не новое, а давно уже известно из книги аббата Барюэля об иллюминатах, но при том, *долгом поставлю присовокупить, что как вы, так и я были масонами*, и знаете сами, что в церемонии, когда принимают в оные и после развяжут глаза, то увидите, что со всех сторон держат около вас обнаженные шпаги, что означает: ежели останетесь верными обществу, то будете защищаемы братьями, а ежели измените оному, они будут вам всегда мстить и преследовать; что самое можно отнести и к подполковнику Лунину, который хотя и принадлежал к обществу, но в 1821 году совершенно от него удалился...»

Константин Павлович в роли адвоката Лунина — факт вовсе не безразличный. Возможно, что не только простое дружелюбие руководило в данном случае

великим князем. Польское духовенство весьма дорожило Луниным и могло влиять на великого князя через его жену, урожденную графиню Грудзинскую, польку и католичку, стараясь спасти нужного им человека. И все-таки из Петербурга пришло требование арестовать Лунина.

Существует несколько рассказов о том, как великий князь старался предоставить Лунину возможность бежать за-границу. Лунин не воспользовался этим случаем. Вместо месячного отпуска «для устроения дел», Лунин попросил разрешения уехать на медвежью охоту на Силезскую границу и к сроку вернулся. Его уже ожидал фельдегерь, присланный императором Николаем.

Никто из декабристов не держал себя на допросах так умно и благородно, как Лунин. Признавая свое участие в союзе Благоденствия, Лунин твердо заявил: «Основателей же оного я не могу назвать, ибо это против моей совести и правил». Не скрывая своего сочувствия Тайному Обществу до 1821 года, он, с другой стороны, не преувеличивал своего значения и откровенно заявил, что за последние годы он сознательно отдалился от Общества. Но и тут, не желая, чтобы его признание было истолковано, как попытка снять с себя ответственность, он счел нужным пояснить: «Не поставлю себе в оправдание отдаление от Тайного Общества и прекращение с оным сношений, ибо я продолжал числиться в оном и *при других обстоятельствах продолжал бы действовать в духе оного*».

В Петропавловской крепости Лунин сидел по соседству с Гангебловым и Анненковым. В своих воспоминаниях Гангеблов пишет: «Более всего меня интересовали беседы Анненкова с Луниным; предметы этих бесед витали, главным образом, в области нравственно-религиозной философии с социальным оттенком. Анненков был друг человечества, с прекрас-

ными качествами сердца, но, увы! Он материалист, неверующий, не имеющий твердой почвы под собою. Лунин, напротив, был пламенный христианин. Оба они говорили превосходно. Первый выражался с большею простотой и прямо приступал к своей идее; Лунин же впадал в напыщенность, в широковещательность и нередко позволял себе тон наставника, что, впрочем, оправдывалось и разностью их возрастов. Лунин старался обратить своего молодого друга на путь истинный. Не раз слышалось: «Но, милый мой, вы слишком упрямы; верьте мне, что вам достаточно четверти часа несколько сосредоточенного внимания, чтобы вполне убедиться в истине нашей веры». К несчастью эти четверть часа тянулись чуть ли не более месяца, и я, получив свободу, оставил их обоих с прежними убеждениями...» Когда разговор между двумя собеседниками истощался, они коротали время игрою в шахматы... Большею частью выигрывал Лунин...

В октябре 1826 года, Лунин был отправлен в Свеаборгскую крепость, а потом в Выборгскую. Весною 1828 года его повезли в Нерчинск, на каторгу, но вскоре его оттуда перевели в Петровский завод. В 1836 году он отбыл срок каторжных работ и поселился в местечке Урик близ Иркутска.

Барон Розен в своих воспоминаниях о каторге пишет: «Из числа всех товарищей, оригинальнее всех жил М. С. Лунин. Он занимал первый номер, совершенно темный, где невозможно было прорубить окна, потому что к наружной стене его кельи была пристроена унтер-офицерская караульня. Он не участвовал в нашей артели, пил кирпичный чай, часто постился по обряду католической церкви, в которую он перешел уже давно, был в Варшаве учеником и приверженцем известного Мейстера. Третья часть его кельи, к задней стене, была отделена завесою; за нею над помостками стояло большое распятие, при-

сланное из Рима, где оно освящено было папою. В продолжение дня были слышны несколько раз латинские возгласы «Dominus vobiscum». — При всем этом, он никогда не был ханжею; когда выйдет с нами на работу, то любо было смотреть на его красивый стан, на развязную походку, на опрятную одежду, и любо было слушать его умный и живой разговор. Кто навещал его в келье, тот всегда оставался доволен его светскою беседой и его шутками...»

Когда, наконец, Лунин вышел из стен тюрьмы, он выстроил себе небольшой дом и стал обрабатывать землю. Об этом он сам рассказывает в письме к сестре от 19-го мая 1838 года: «Любезная сестра! Бог выводы моих агрономических занятий в 1837 году. Оценив потребленное и проданное и вычтя все издержки, я получил чистого дохода 141 р. 75 к., кроме озимей, подающих хорошую надежду. Слава Богу, есть чем жить, хотя прошлый год был худой для урожая и первый для меня на поселении. Много было препятствий: задержание денег, запрещение выездов, пугливость властей. За то я избавлен от податей и натуральных повинностей—одно стоит другого. Правда, главным препятствием были учебные (книжные) занятия: Платон и Геродот не ладят с сохой и бороной. Вместо наблюдения за полевыми работами, я перелистываю старинные книги. Что делать! Ум требует мысли, как тело пищи. Между тем, в 8 месяцев много сделано; земля болотная, необработанная, тернистая—осушена, огорожена, обращена в луга и пашни. Посредине английский садик с песчаными дорожками, беседкою и множеством цветов, далее две левады, огород и, наконец, уютный домик с пристройками, где запоздалый путник находит убежище, бедный—кусок хлеба, разбойник—отпор. Приятно сообщить тебе эти подробности, потому что все это более твое, чем мое дело: ты доставила средства, я только действовал...»

III.

Десять лет тюрьмы и каторги! Лунину теперь 54 года. За плечами огромный жизненный опыт—многолетняя война; страстные и буйные увлечения; близость к заговорщикам против старого строя Европы и России; связь с иезуитами, французскими и польскими; романтическая любовь, огромное богатство и предельная нищета; знание всех значительных европейских языков и культур, новых и древних,—и во всем барский диллетантизм... Таков Лунин. Он теперь живет в восемнадцати верстах от Иркутска, занимается сельским хозяйством, а по воскресеньям к нему приезжает из Иркутска ксендз, и они служат мессу в капелле, которую Лунин устроил у себя в доме.

Соседями Лунина в м. Урик были его двоюродные братья Александр и Никита Муравьев, доктор Ф. Б. Вольф, член Южного Общества, и семья кн. С. Г. Волконского, товарища Лунина по службе в кавалергардах. По словам М. Н. Волконской, Лунин вел уединенную жизнь. «Будучи страстным охотником, он все лето проводил в лесах и только зимой жил дома». Однако, семью Волконских он посещал и, по-видимому, «дева Ганга», эта невысокая, но стройная брюнетка с горящими глазами, со смуглым лицом, с немного вздернутым носом, с гордою, но плавною походкой, внушила Лунину не безразличные чувства. Чары смуглянки, волновавшие когда-то Пушкина, сохранили свою силу, и вокруг этой необыкновенной женщины возникала всегда атмосфера любви и ревности. Эта женщина напоминала Лунину ту загадочную возлюбленную, которая когда-то пленила его в Польше. Однажды, он был необыкновенно взволнован пением княгини. Об этом он пишет в своем дневнике 9-го апреля 1837 года: «Я слышал пение впервые после десятилетнего заключения.

Музыка была мне знакома; но в ней была для меня прелесть новизны, благодаря контральтовому голосу, а может быть благодаря той, которая пела. Ария Россини произвела впечатление, которого я не ожидал. Музыка опаснее слов неопределенностью своего выражения...» Когда Лунин писал это, едва ли он помнил свои слова о музыке, которые записал когда-то Ипполит Оже. Теперь Лунин думает, что музыка «приспособляется ко всему, не выражает ничего положительного и украшает все то, что выражает. Это язык окружающего нас невидимого мира, часто это язык тех воздушных сил, с которыми нам приходится бороться...» Далее Лунин цитирует блаж. Августина, который в своей «Исповеди» говорил, что когда ему случается быть тронутым самим пением более, чем словами, которые его сопровождают, он признает, что он согрешил... «Если есть зло в пении, сопровождающем псалмы царя-пророка, то что же сказать о музыке, выражающей разнузданные людские страсти?»—размышляет Лунин: — «Однако, смятение, вызванное слышанным пением, все еще продолжалось. Несмотря на усилия мысли вознестись в свойственную ей эфирную высь, она блуждала по земле. Воображение воспроизводило всевозможные видения: старинный замок с зубчатыми башенками, молодую владелицу замка с лазоревым взглядом, ее белое покрывало, развивающееся в воздухе, как условный знак, голос серенады и лязг оружия, нарушавший гармонию. Безумие, преступные мечты моей юности. Но с вечерней молитвой дьявольские наваждения рассеялись. Я возблагодарил Господа за то, что он мне показал, как сам по себе я слаб и как я силен с помощью того, кто укрепляет меня. Все могу в том, что меня укрепляет (к Фил., IV, 13).»

Прошло три месяца и в письме к сестре Лунин снова возвращается к той, которая растревожила его сердце своим пением. «Дорогая сестра!—пишет Лу-

нин,—я прогуливался по берегу Ангары с изгнанницей, чье имя уже внесено в отечественные летописи. Сын ее (красоты Рафаэлевой), резвился перед нами и, срывая цветы, спешил отдавать их матери... Когда мы прошли часть леса, постепенно поднимаясь в гору, нам вдруг представилось обширное пространство, замыкаемое на Западе цепью синеющих гор и перерезанное на всем протяжении рекою, которая казалась серебряным змеем, лежавшим у наших ног. Его, невидимые совершенства сделались видимыми через понимание, которое дают о нем, его творения. Но величественное зрелище природы было только обстановкою для той, с кем я прогуливался. Она осуществляла мысль апостола и своей личной грацией, и нравственной красотой своего характера. Устав от долгого пути между кустарником, она прилегла на траву, чтобы собраться с силами. Разговор зашел о смерти, с которой свыклась мысль людей, проживших бурно. На пути домой, мы заметили между деревьев бедную женщину, с мешком в руках, искавшую корней Муныра.—На что этот корень?—спросил я.—Дети будут пить вместо чаю,—отвечала она. Ее избавили от труда. Встреча с сосланными в лесу доставила помощь ее семейству, как встреча ангела в пустыне доставила Агари воду для ее сына...»

На этот раз нет уже никакой строгой цитаты из Отцов Церкви, предостерегающей от соблазна и прелести. Из этих признаний видно, что Лунин и в старости не чужд был любви. Когда-то он расточал свои силы на страсть и хмель; потом зрелым человеком он влюбился, как романтик; наконец, под старость он познал в любовном опыте не только Афродиту, но и «ребенка»,—под старость он понял, что самая значительная любовь не может удовлетвориться ни страстью, ни мечтательным бредом: она питается нежностью, и влюбленный видит в своей

возлюбленной, прежде всего, невинное и детское, какова бы ни была ее фактическая биография.

К тридцатым годам Лунин вообще созрел духовно. Влияние его на дела Тайного Общества было ничтожно, но теперь в Сибири, он как будто вновь пересмотрел и переоценил события, которые сопутствовали восшествию на престол Николая I-го, и эти воспоминания и критическая оценка совершившегося укрепили его в мнении, что декабристы были правы, а император защищал дурное дело. Самодержавие всегда искало высших религиозных санкций. Католик Лунин с этим не мог примириться. Для него только одна власть была освящена самим божественным промыслом—власть папы. У папы нет соперников Власть государственная—власть человеческая—только человеческая. Ее можно терпеть лишь при условии правовых гарантий, «законно свободных установлений». В этом была известная последовательность. И Лунин, как человек цельный и смелый, предпринял борьбу с самодержавным правительством из своего сибирского заточения. Он стал бороться пером. Пренебрегая всякой конспирацией, он открыто, в форме писем к сестре, писал свои обличительные послания, иронические и дерзкие, где порицал правительство Николая I-го. Письма проходили через Третье Отделение. Попробовали Лунину запретить переписку, но дело было сделано: его письма переписывались, размножались и распространялись по России, как политические памфлеты, которые жадно читали люди двух поколений—отцы и дети.

Сам Лунин считал свою миссию провиденциальною. В самом раннем его письме, нам известном, помеченном—29-го сентября 1836 года, день св. Михаила, он пишет в библейском стиле о божественном руководительстве: «Кто сопутствовал мне на дно темницы? Кто облегчил тяжесть моих цепей и испе-

лил их язвы?—Невидимое существо, бодрствующее над моей судьбою. Оно не может явиться мне прежде смерти моей, но окружает меня свидетельствами своего присутствия: хижина в заточении имеет для меня всю прелесть крова родительского; я безмятежен среди опасностей, независим в стеснении, счастлив в уединении...» Лунин считает своим долгом обличать царское правительство, потому что эти обличения внушает ему божественный голос.

Лунин пользуется обыкновенно каким-нибудь случайным фактом, иногда ничтожным, чтобы выразить свое желчное презрение к установленному порядку. Надо представить себе физиономию сибирского генерал-губернатора или самого Бенкендорфа, когда им приходилось читать откровенные мысли изгнанника. Вот, например, одно из писем, написанное по поводу испорченной и опустошенной почтовой посылки: «Любезная сестра! Вещи и книги, полученные мною, пришли перепорченными по небрежности или тупоумию Почтового Департамента, которому вы их вверили. Такое нарушение общественного доверия происходит оттого, что эта важная отрасль управления превращена в синекуру и отдана на кормление царедворцу старой школы, который при нескольких государях занимал с большим или меньшим успехом должность шута. Старая школа, вообще, ни к чему не годна. Вверьте ей армию, она ее загрязнит; поручите ей дворец, она его сожжет; предоставьте поезд, она его изгадит». Ирония Лунина переходит иногда в убийственный сарказм, которым он пользуется с настоящим мастерством: «Слышу,—пишет он,—что некоторые из наших политических ссыльных из'явили желание служить рядовыми в Кавказской армии, в надежде помириться с правительством. По-моему неблагоразумно итти на это, не подвергнув себя наперед легкому испытанию. Следовало бы велеть дать себе в

первый день пятьдесят палок, во второй сто, а в третий двести, чтобы в сложности составило триста пятьдесят ударов. После такового испытания уже можно провозгласить: dignus, dignus est intrare in isto docto corpore».

По поводу житейского факта, сообщенного сестрою, о нападении на какого-то полковника Д., Лунин пишет: «Нападение разбойника вовсе не наносит бесчестья. Не во власти людей позорить нас, когда мы того не заслуживаем. Я был под виселицей и носил кандалы. И что же разве я тем опозорен? Мои политические противники не того мнения. Они были вынуждены употребить силу, потому-что не имели иного средства для опровержения моих мыслей об общественном улучшении».

Седьмое письмо все посвящено иронической критике нашего законодательного кодекса; восьмое—смертной казни; одиннадцатое—положению министерств, их недостаткам «при сложном управлении облеченном неограниченной властью на место политических ручательств»; тринадцатое—правам и роли оппозиции; пятнадцатое—критике трех принципов, выдвинутых тогда министерством народного просвещения—православия, самодержавия и народности; шестнадцатое письмо посвящено развитию той же темы...

После годового перерыва, когда Лунину снова разрешили писать сестре, он продолжает высылать свои памфлеты, еще более обстоятельные и более резкие. Несмотря на свою религиозность и даже мистицизм, о чем свидетельствует его записная книжка, Лунин совершенно трезв и точен в своих политических и социальных оценках. Он даже порою прозаически деловит и готов руководствоваться не общими моральными соображениями, а сухим расчетом и разумно понятым интересом. Об освобождении крестьян,

например, он рассуждает не только с точки зрения социальной справедливости; он напоминает, что Тайное Общество доказывало владельцам, что освобождение крестьян послужит не к уменьшению, а к приращению их (помещичьих) доходов. Он поддерживает это соображение, как землевладелец, нисколько не смущаясь своей классовой заинтересованностью в этом деле: «Рабство несовместимое с духом времени,—пишет Лунин,—поддерживается только небрежеством...»

По поводу запрещения его переписки, он все-таки написал 17 августа 1839 года послание из Иркутска. Начиналось оно так: «Письма из Сибири, по своему политическому содержанию, обратили на себя внимание правительства. Генерал-губернатор передал мне повеление не писать в течение года. Запрещение излагать свои мнения свидетельствует о важности их и о той робости, которую вообще люди ощущают при первом взгляде на истину, пока не узнают и не полюбят ее. Такое запрещение в политике обыкновенно невыгодно действует для власти, от которой происходит, рождая мысль о недостатке доказательств, могущих оправдать излагаемые идеи».

Кроме «писем» после Лунина остались еще некоторые исторические и публицистические работы— «Взгляд на Русское Тайное Общество», «Разбор донесения, представленного Тайной Комиссией в 1826 году», «Розыск исторический» и др. Но его «письма» самое замечательное из его литературного наследия. Они остроумны, ядовиты, оригинальны; в них есть аттическая соль, есть ирония и сарказм, как сознательные художественые приемы; в них есть своеобразный стиль; в них есть изумительная выразительность интонации: их превосходный язык точен, как кристалл. Они могут быть поставлены на ряду с «Философическими письмами» Чаадаева. отчасти близ-

кие им и по своему духу, но в них есть преимущество ума, более живого и активного.

Таких стрел правительство Николая I-го не могло простить дерзкому изгнаннику. 24 февраля Бенкендорф послал бумагу министрам военному и внутренних дел, извещая их о том, что в виду составления государственным преступником Луниным особо преступного сочинения под заглавием: «Взгляд на Русское Тайное Общество с 1816 по 1926 год», государь император повелел вновь арестовать, обыскав тщательно, автора этой статьи и вновь направить его в Нерчинск, для строжайшего одиночного заключения. В полночь, 26 марта 1841 года, жандармы ворвались в дом. Лунина. Они нашли в этом доме около тысячи книг, латинских, греческих, русских, славянских, польских, французских, английских и немецких... Здесь были богословские трактаты, исторические изыскания, книги по философии и литургике, труды филологические и многие другие. В одной из комнат жандармы нашли алтарь, распятие, потир и все, что необходимо для мессы. Тут же была небольшая ризница.

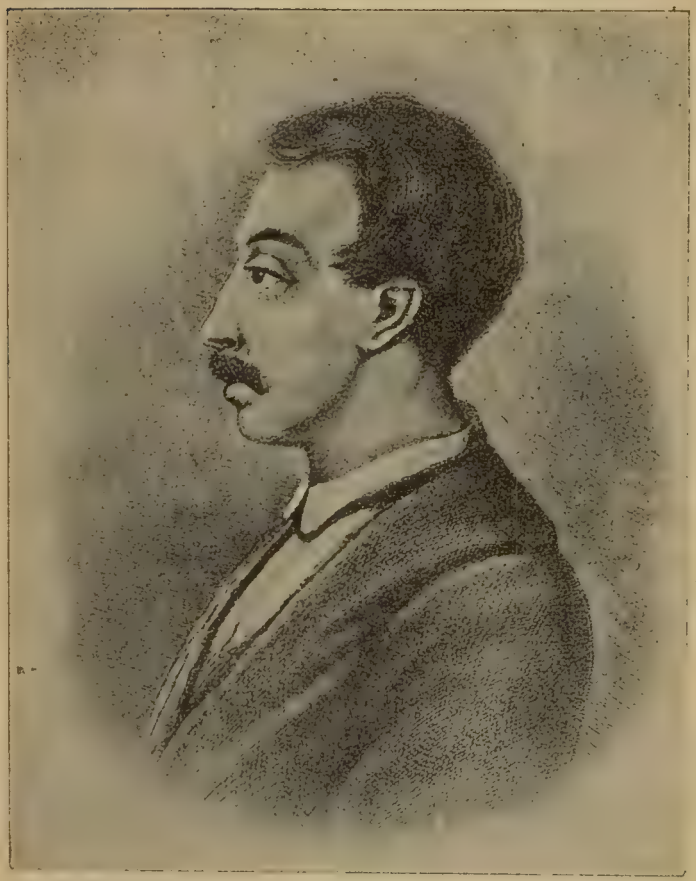
Хвастливый и глупый чиновник уверял в своем донесении, что будто бы Лунин был очень смущен, подавлен и «дрожал, как в лихорадке». Трудно поверить этому сообщению. Лунин, всю жизнь безбоязненно рисковавший своею головою, ужели испугался новой казни? Не менее глупо донесение чинозника, который допрашивал Лунина в Иркутске. Этот следователь предполагал даже в Луниие душевное расстройство. Допрашиваемый утверждал, что вне римско-католической церкви нет спасения и рекомендовал своему следователю поучиться политике у него, Лунина. Однако, письменные показания Лунина составлены им умно ,трезво и в моральном отношении безупречно. Он ссылался только на двух лиц и при-

том уже не живых. Таким образом, и на этот раз Лунин не запутал никого в своем деле.

Его письма, статьи, бумаги и записную книжку все это отправили царю вместе с докладной запиской. Драгоценные документы эти потом хранились в Третьем Отделении. Лунин был заживо погребен в глухой Акатуевской тюрьме. Он умер скоропостижно 3 декабря 1845 года Его вещи были впоследствии переданы, по указанию сестры, княгине Марии Николаевне Волконской, которая казалась Лунину такой прекрасной. Вероятно, давая эти указания о вручении вещей брата именно Волконской, Е. С. Уварова вспомнила письмо Лунина, где он восторженно и нежно рассказывает о Марии Николаевне, склонившейся над колыбелью. Но в этом же письме Лунин писал: «Вездесущий искуситель говорил мне: «Познать и любить—в этом весь человек; тебе неведомо чувство супруга и отца; где твое счастье?» Но слово апостола рассеяло это наваждение; «А я хочу, чтобы вы были без забот; неженатый заботится о господнем, как угодить господу (Перв. посл. в Коринф. VII, 32). Истинное счастье—в познании и любви к истине. Все остальное лишь относительное счастье, которое не может насытить сердца, так как не находится в согласии с нашими бесконечными желаниями».

Есть одно слово, которое характеризует Лунина точно и, так сказать, исчерпывает вполне его личность: Лунин был рыцарь. Он был живым анахронизмом—этот воистину средневековый человек. Он вел себя по-рыцарски и с крепостным человеком, и с царем, и с начальником, и с женщиной... Он был рыцарем везде и всегда, во всякой обстановке и при всяких обстоятельствах—и во дворце, и в салоне, и в парижской мансарде, и в каторжной тюрьме. Он был рыцарь, потому что он не боялся смерти, верил в безусловную истину ,в долг и в честь,—потому что он, как Дон-Кихот, любил Дульцинею,—потому что

он, как Гамлет, был заворожен на всю жизнь таинственным голосом, прозвучавшим в Эльсиноре в ту бурную ночь, когда он впервые покинул отчий дом в поисках неведомого.



Вильгельм Карлович Кюхельбекер.

В. К. Кюхельбекер

Тридцатого декабря 1825 года С.-Петербургский обер-полицмейстер подписал особое об'явление о розыске беглеца. Текст расклеенной публикации был таков: «По распоряжению Полиции розыскивается здесь Коллежский Ассесор Кюхельбекер, который приметами: росту высокого, сухощав, глаза навыкате, волосы коричневые, рот при разговоре кривится, бакенбарды не растут; борода мало заростает, сутуловат и ходит немного искривившись; говорит протяжно, от роду ему около 30 лет. Почему поставляется в непременную обязанность всем хозяевам домов и управляющим оными, что, если таких примет человек у кого скажется проживающим или явится к кому-либо на ночлег, тотчас представить его в Полицию; в противном случае с укрывателями поступлено будет по всей строгости законов».

Повидимому, наружность этого коллежского ассесора обращала на себя чрезвычайное внимание, и его без труда задержали в ближайшие дни в Варшаве. Этот долговязый рассеянный молодой человек, дававший поводы к шуткам, иногда жестоким, еще в Лицее, казался современникам забавным чудаком. И в нашем воображении мы связываем невольно его имя с смешными каррикатурами «Лицейского Мудреца», где бойкий карандаш Илличевского рисовал лицеиста-поэта в разнообразных трагических положениях. Сам Пушкин, как известно, не щадил товарища:

Вот Виля—он любовью дышит,
Он песни пишет зло;
Как Геркулес сатиры пишет,
Влюблен, как Буало.

И, однако, несмотря на то, что Кюхельбекер, с детства до конца дней своих давал повод для эпиграмм и карикатур, несмотря на град насмешек, коих мишенью он был постоянно, этого человека любили искренно, и первый Пушкин посвятил ему трогательные две строфы в пьесе «19 октября» 1925 года:

Служенье Муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво.
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты—
Опомнимся—но поздно!—и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не толь и с нами было,
Мой брат родной по Музе, по судьбам?

Пора, пора! Душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья,
Сокроем жизнь под сень уединенья.
Я жду тебя, мой запоздалый друг—
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи.
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви...

Так поэт приветствовал поэта. А прозаичный М. А. Корф, товарищ их по лицею, писал в 1854 году: «Вильгельм Карлович Кюхельбекер, начавший поздно учиться по-русски и оттого, хотя и изучивший этот язык в совершенстве, но сохранивший в выговоре явные следы немецкого происхождения, сверх того представлявший и по фигуре, и по всем приемам живой тип немца, или того, что мы называем колбасником,—Кюхельбекер, говорю, был предметом постоянных и неотступных насмешек целого лицея

за свои странности, неловкости и часто уморительную оригинальность. Длинный до бесконечности, притом сухой и как-то странно извивавшийся всем телом, что и навлекло ему эпитет «глиста», с эксцентрическим умом, с пылкими страстями, с необузданною вспыльчивостью, он, почти полупомешанный, всегда готов был на самые «курьезные» проделки и раз даже, ни с того, ни с другого, попробовал утопиться, впрочем, именно в таком пруду, где нельзя бы было утонуть и мыши. Он принадлежал к числу самых плодовитых наших стихотворцев, и хотя в стихах его было всегда странное направление и отчасти странный даже язык, но при всем том, как поэт, он едва ли стоял не выше Дельвига, и должен был занять место непосредственно за Пушкиным. После выпуска он метался из того в другое, выбрал, наконец, педагогическую карьеру, был преподавателем русской словесности в разных высших заведениях, издавал, вместе с князем В. Ф. Одоевским, журнал, помнится, «Мнемозину», и как в нем, так и в других продолжал печатать свои стихотворные произведения. Все это кончилось историей 14 декабря»...

Почему же этот несомненный поэт, которого Пушкин великодушно называл своим родным братом по Музе и, которого Корф, быть может, неосторожно называет вторым в лицее поэтом после Пушкина— почему этот незаурядный лирик и человек возбуждал такой смех? Вероятно, по тем же мотивам, по каким все окружающие смеялись над Дон-Кихотом, истинным рыцарем, благороднейшим и умнейшим человеком—смеялись, потому что в самом деле всегда смешно грубое и явное несоответствие между какой-либо великою целью и теми малыми средствами, какими располагает слабый человек, мнящий себя героем и силачем. У Кюхельбекера было очень скромное дарование, но он мечтал быть, по крайней мере, Кальдероном. Это было комично. Так и в жизни мечта Кю-

хельбекера была безмерно огромнее выпавшей на его долю судьбы.

Когда Дон-Кихот лежал на смертном одре, все вдруг поняли, что умирает настоящий и прекрасный рыцарь, что жизнь его в сущности вовсе не смешна и, что вся его история есть грустная повесть об оскорбленном напрасно сердце.

Так и мы, теперь, припоминая жизнь Вильгельма Кюхельбекера, не смеемся, а грустим. Это была мучительная, безотрадная и душная жизнь—именно, душная. И сейчас испытываешь странное и трудное чувство духоты, когда перелистываешь биографические документы, письма, дневники и самые стихи этого несчастного поэта и злополучного участника декабрьского мятежа. Подумать только: в юности, окруженный толпою избалованных и насмешливых повес, он, повидимому, далеко не всегда чувствовал себя счастливым—недаром Корф рассказывает, что он «раз даже ни с того, ни с другого попробовал утопиться»; получив диплом и медаль, он и в жизни, как в школе оказался неустроенным, неловким, смешным и тягостным для всех и для него самого; наконец, за недели до декабрьской катастрофы, принятый в Тайное Общество, он является на Сенатскую площадь и ведет себя так, что все принимают его за полоумного. И. И. Пущин в письме к Е. А. Энгельгардту от 21 марта 1845 г. писал: «Напрасно покойный Рылеев принял Кюхельбекера в общество, без моего ведома, когда я был в Москве. Это было незадолго до 14 декабря. Если бы вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день об'явления сентенции, то вы просто погибли бы от смеху, несмотря, что он тогда был на сцене довольно трагической и довольно важной»...

За несколько дней заговорщической бездеятельности и за несколько бестолковых жестов на площади впереди мятежного каре, Вильгельм Карлович Кю-

хельбекер получил жестокое возмездие — десять лет одиночного заключения и потом ссылка в Сибирь.

Является вопрос, да возможно ли его считать декабристом? Не случаен ли его арест? Я думаю, что, решая этот вопрос, мы должны считаться с тем «духом времени», о котором не раз говорилось сто лет тому назад и врагами и ревнителями революции. Кюхельбекер ничего не сделал для революции, но по своему психологическому типу он был «декабрист». И мало того—он был чрезвычайно характерен, пусть даже карикатурен, для одного из тогдашних вольнодумческих уклонов. Пушкин с гениальной меткостью прозвал его Анахарсисом Клоотсом, очевидно, постигнув беспокойный дух, овладевший его умом. «Раскаяние» Кюхельбекера не уничтожает и не умаляет даже его изначального революционного порыва. Если считаться с покаянными воплями декабристов, придется зачеркнуть всех или почти всех деятелей Тайного Общества. Но мы этого не делаем, ибо «зачинателей» нельзя судить тем судом, каким мы судим революционеров иных поколений.

I.

В то время как двор Екатерины блеском своим обращал на себя внимание Европы; в то время как вокруг престола собралось немало талантливейших людей, и хитрая царица, умевшая показать товар лицом, поддерживала с успехом престиж империи: двор некоронованного Павла Петровича был беден, поневоле скромен и безлюден. Тесный гатчинский кружок Павла Петровича и вел. кн. Марии Федоровны состоял из пяти-шести лиц. В их числе был директор Павловска, Карл Иванович Кюхельбекер, саксонский уроженец, дворянин «римской империи». Воспитанник Лейпцигского университета, он был человек просвещенный, а его немецкое происхожде-

ние помогало ему занять при Гатчинском дворе не последнее место: Павел Петрович, как известно, находился в то время в совершенной зависимости от традиций германской государственности. О близких отношениях Павла и вел. кн. Марии Федоровны к Кюхельбекеру красноречиво говорят сохранившиеся до нашего времени письма их к угодившему им «директору Павловска». Кюхельбекер был женат на Юстине Яковлевне Ломен, весьма красивой, умной и родовитой саксонке.

Из своей близости к Гатчинскому двору Карл Иванович Кюхельбекер не извлек для себя большой выгоды даже тогда, когда Павел Петрович стал императором. После цареубийства 11 марта 1801 г. он поселился в своем небольшом поместье Авинорме, Эстляндской губернии, где и умер в 1809 году, оставив вдову и детей почти без средств к существованию.

В это время Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру было двенадцать лет. Сам он уверял, что до шести лет не говорил будто бы по-немецки, окруженный русскими служанками и слугами, однако, по свидетельству современников, когда его из частного немецкого пансиона города Верро привезли в Царскосельский лицей, он говорил по-русски худо и лишь по окончании лицея усвоил русскую речь в совершенстве. Немецкое происхождение не помешало Кюхельбекеру сделаться русским патриотом. События 1812 года и последующие победоносные наши походы в Европу внушили юноше особые понятия о величии русского народа и нашей государственной мощи.

Условия жизни в тогдашнем лицее были хорошие. Главное, воспитанники пользовались такою свободою, о какой не мечтали многие и взрослые граждане империи. И кто хотел учиться, мог получать и книги, и живое руководство преподавателей. Кюхельбекер воспользовался этой возможностью и в 1817 году полу-

чил диплом, свидетельствующий о хороших успехах в науках. Но едва ли не большее значение для его судьбы имело общение с товарищами—прежде всего с Пушкиным. Стихия поэзии овладела тогда лицеистами. Юные ревнители муз вышли из лицея во всеоружии тогдашней стихотворческой техники. Еще на школьной скамье Кюхельбекер увидел свои стихотворения на страницах «Вестника Европы». В своем литературном призвании он не сомневался.

Правда, по выходе из лицея, он поступил в коллегию Иностранных Дел, где числились также Пушкин и Грибоедов, но служебная карьера его нисколько не занимала. Серьезнее он относился к своей педагогической деятельности. Он преподавал русский и латинский языки в Благородном Пансионе при Главном Педагогическом Институте. Вместе с тем он был ревностным членом Вольного Общества Любителей Словесности. Так прожил Кюхельбекер три года. Среда, в которой он вращался, была литературная. Он был знаком с Жуковским, Крыловым, Д. Давыдовым, Карамзиным, Грибоедовым, Катениным, князем Вл. Одоевским, кн. А. Одоевским, Гнедичем, А. Бестужевым (Марлинским), Рылеевым, Туманским, Боратынским, Шишковым, кн. Шаховским и др.

В августе 1820 года Дельвиг познакомил Кюхельбекера с А. Л. Нарышкиным, который предложил ему сопровождать его за границу в качестве секретаря. Поездка эта состоялась. Любопытно, что этот чистокровный немец писал из Берлина сестрам по-русски: «Вы не можете себе представить, с каким наслаждением я здесь, в немецкой стране, пишу эти русские строки. Каждая буква напоминает мне мое отечество... Как вы все счастливы! Вы дышите русским воздухом!»

В письме к матери от 13 ноября 1820 г. Кюхельбекер пишет: «В Веймаре я познакомился с великим Гете; он был ко мне очень милостив и, казалось,

весьма интересовался русской литературой...» Оказывается, что у Кюхельбекеров нашлось какое-то семейство Брейткопф, которое было известно Гете. Старец подарил Кюхельбекеру свою книгу с надписью. Мы скоро оставляем Германию,—пишет Кюхельбекер— С восхищением я вступлю на французскую почву... Германия была для меня весьма поучительна: надеюсь, что и Франция будет не менее ее поучительна»...

Однако, в Марселе им овладевает тоска по родине, несмотря на то, что цветут миндальные деревья, розы и фиалки, и ему, северянину, трудно поверить, что сейчас январь. В начале марта 1821 года Нарышкин и его спутник были уже в Ницце и на другой же день выехали в Париж. Здесь у Кюхельбекера произошло какое-то недоразумение с его патроном и они расстались. Итак, Кюхельбекер посетил Париж, когда правительство Людовика XVIII пыталось внушить французам, что революция не вернется, что дело ее проиграно раз навсегда. Королевство старалось восстановить абсолютизм и у соседей, например, в Испании. Троппау-Лайбахский конгресс обсуждал способы для подавления революции в Неаполе и Пьемонте. А в это время итальянские карбонарии рассылали своих агентов по всем странам, и в самом Париже Тайные Общества вели пропаганду, подготовляя новую революцию.

Вильгельм Карлович Кюхельбекер был масоном, как это видно из его собственных показаний, сделанных им в Варшаве на допросе после ареста в 1825 г., и, конечно, в Париже он не уклонился от встреч с «братьями». И, если в северном Тайном Обществе Кюхельбекер числился членом в течение пяти-шести последних дней, то по существу с ранней юности он был уже в кругу масонских идей и связей. В этом смысле он был типичен для многих ревнителей Тайных Обществ, которые не утратили масонских на-

строений и, вероятно, зависели даже в своих действиях от заграничных масонских центров. Кюхельбекер был масоном в ложе Михаила, избранного Великой Астреи еще до официального закрытия ложи в России. Возможно, что его отец также был масоном, ибо весь Гатчинский двор был руководим агентами Фридриха-Вильгельма II, как известно, чрезвычайно ревностного масона.

Здесь, в Париже, при посредстве своих новых знакомых Кюхельбекер выступил в Атенее с циклом лекций о славянских языках и славянской литературе. Кажется, лекции эти имели успех, хотя А. И. Тургенев отзывался о них с иронией. Представители нашего дипломатического корпуса нашли эти лекции непозволительно либеральными, и Кюхельбекеру было предложено вернуться на родину, прекратив чтения. Осенью 1821 года он был уже в Петербурге. В конце того же года ему удалось получить место при А. П. Ермолове, и он уехал в Тифлис. Дела его устроились. Ему предложили место секретаря при нашем посольстве в Персии. Но Кюхельбекер был человек, который не мог мириться с прочным бытом и житейским благополучием. Он как будто нарочно разрушал и губил налаженную жизнь. Так и на этот раз он затеял какую-то ссору с одним из сослуживцев и, кажется, ударил его. Была дуэль. Пришлось покинуть Тифлис и в Смоленской губернии, в усадьбе сестры Юстины Карловны Глинка, искать убежища от бурных Кавказских приключений.

Однако, пребывание на Кавказе не было для Кюхельбекера бесплодным. Там он встретился с А. С. Грибоедовым, с которым был знаком с 1817 года, и встреча закрепила их дружбу. Грибоедов, повидимому, влиял на Кюхельбекера. Это он вдушил своему собрату пристрастие к славянизмам, интерес к восточным сюжетам и любовь к художественным достоинствам Библии. И он же утвердил мечтательного

поэта в его религиозных верованиях. По крайней мере, в 1828 году Кюхельбекер писал из Динабургской крепости своему другу: «Прости, до свиданья в том мире, в который ты первый заставил меня верить».

27 июля 1823 года Кюхельбекер поселился в Москве. Здесь он давал уроки словесности в Университетском пансионе. И к этому же времени относится его сближение с В. Ф. Одоевским. Вместе с этим шеллингианцем «любомудром» Кюхельбекер стал издавать «Мнемозину». Об'явление о первом сборнике появилось в «Вестнике Европы» в декабре 1823 года. В числе ближайших участников значились имена А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, Д. В. Давыдова и друг.

Сборник выходил в 1824 году (три книжки), а последняя четвертая появилась уже в 1825-м. Одоевский заведовал отделами—беллетристическим, философским и публистическим, Кюхельбекер взял на себя отдел поэзии и критики. «Мнемозина» ставила себе задачей бороться с французским влиянием в русской литературе; Одоевский и Кюхельбекер сошлись на признании «германского любомудрия», хотя и не всегда его понимали одинаково; эта зависимость от немецкой тогдашней метафизики не мешала им утверждать, что они защищают самобытность русской культуры... Кюхельбекер обвинял современных ему русских романтиков, в том числе и Жуковского, что, избегнув соблазна французского лжеклассицизма, они попали в плен германской туманной лирики. Романтизм должен быть народным. То, что к лицу немцам, русским вовсе не свойственно. Повидимому, у Кюхельбекера возникла здоровая идея об опасности всякого иллюзионизма, хотя он сам первый был в его сетях. «У нас все мечты и призраки,—писал он,—все мнится и кажется, и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то»...

Вот это полуосознанное влечение к реализму толкнуло, быть может, Кюхельбекера на сближение с деятелями Тайного Общества. Правда, и здесь он подлинного и настоящего реализма не нашел и, сам фантаст по своей природе, так и остался в заколдованном кругу всяких «мнимостей», но принципиально он был уже врагом «отвлеченных начал».

В апреле 1825 года он покинул Москву. Лето он прожил в семье в Смоленской губернии, а с октября поселился в Петербурге, на углу Исаакиевской площади и Почтамтской улицы, в одной квартире с поэтом кн. А. И. Одоевским, поручиком лейб-гвардии Конного полка, будущим декабристом, двоюродным братом московского «любомудра». Здесь, в этой квартире, Кюхельбекер встречался с заговорщиками; тогда же он сблизился с Рылеевым и за несколько дней до мятежа на Сенатской площади был принят им в Общество; Кюхельбекер не успел посетить ни одного заседания, не принимал никакого участия в делах Общества, и, кажется, имел весьма смутное представление о намеченной программе. В немалом душевном смятении он явился на площадь 14 декабря.

Если вообще Петербургское событие 14 декабря 1825 года романтическому воображению представляется странным и тяжелым сном. Если и более трезвые люди «неверили своим глазам», увидев вокруг памятника Петра мятежное каре и услышав крики повстанцев: то не так уж трудно поверить Кюхельбекеру, фантасту и сумасброду, что он потерял тогда голову и действовал как во сне. Он и ранее по опыту знал, как опасен иллюзионизм; он, ведь, в своей «Мнемозине» не случайно пытался убедить других и прежде всего себя, что истинный романтизм вовсе чужд мистической туманности. На самом деле Кюхельбекер был сам безнадежно заворожен романтическими чарами, и, встретив лицом к лицу тог-

давнюю революцию, не более разгадал ее смысл, чем товарищи. Напротив, он в их глазах был странен и даже полоумен. Читая его петербургские показания Верховной Следственной Комиссии, в этом убеждаешься легко. Услышав о том, что войска отказываются присягать Николаю Павловичу, Кюхельбекер утром поехал к Рылееву. Там он нашел своего лицейского друга Пущина и еще некоторых. Ему сказали, что надо ехать на Сенатскую площадь, Кюхельбекер поспешил туда, но было еще рано, и площадь была пуста. Долговязая фигура взволнованного поэта скоро, вероятно, привлекла бы к себе внимание прохожих, если бы он не поспешил отправиться домой, но по дороге он встретил Александра Одоевского, который вручил ему заряженный пистолет. Далее факты, кажется, путаются в сознании Кюхельбекера. Ему все «чудится» и «мнится» и все вокруг него не настоящее, все «как будто бы». Но он старается осмыслить свое поведение и оправдать свою бестолковость. Он то едет в казармы морского экипажа, то в казармы Московского полка, везде он удивляет всех и сам не понимает, что говорит и делает. У Синего моста извозчик вываливает поэта в снег, где пистолет его выпал и смок. Прямо из сугроба, оставив извозчика, Кюхельбекер идет на площадь, где на этот раз видит бунтующих солдат и огромную толпу народа. Ему, как впрочем, и большинству декабристов, и в голову не приходило, что на допросе надо говорить о себе и молчать о товарищах. Поэтому пойманный беглец на первом же допросе откровенно рассказывал, кого он нашел среди мятежников,—Щепина-Ростовского, братьев Бестужевых, Оболенского, Каховского, Пущина и других. Он даже упоминает о каком-то неизвестном ему статском советнике с пломажем на шляпе... Пущин будто бы послал его, Кюхельбекера, в дом Лаваля искать «диктатора»,—кн. Трубецкою, не явившегося

вовсе на площадь. Поиски злополучного князя были тщетны. А пока Кюхельбекер ездил в дом Лаваля, к карэ подскакал граф Милорадович, и Каховский его ранил смертельно. Потом уже при Кюхельбекере приблизился к мятежникам митрополит и тщетно уговаривал толпу изъявить покорство. По выражению следователей, Кюхельбекер «много суетился». Среди бесполезных и нелепых действий Вильгельма Карловича следователей заинтересовал, однако, один несомненный факт. А именно: Кюхельбекер покушался на жизнь вел. кн. Михаила Павловича и генерала Воинова, когда они под'езжали к бунтовщикам. Как это случилось? Самого факта Кюхельбекер не оспаривал, да и были свидетели, уличавшие его в этом, но вместе с тем из слов его самого можно было вывести заключение, что у него вовсе не было намерения убить великого князя Михаила Павловича так же, как и генерала Воинова. Но об'яснения покушавшегося были так неправдоподобны, что следователи не поверили ему. И надо признаться, что об'яснения Кюхельбекера были очень странные. На первом допросе в Петербурге он показывал: «Офицеры экипажа подходили к преосвященному и просили его прислать Михаила Павловича, обещая его послушать. Когда же великий князь под'ехал, и люди начали слушать его слова, то Пущин спросил по-французски, вызвав меня с другой стороны, где я стоял, хочу ли я его из пистолета ссадить. Тут меня двинули вперед, и я, зная по опыту, что мой пистолет замокнет, стрелять не может, и сверх всего боясь, чтоб на сие другие кто не решился, прицелился; но люди гвардейского экипажа отвели руку мою прочь. После его высочества под'езжал к толпе еще Воинов, на которого опять, по требованию Пущина, я также прицелился, но пистолет, как я был уверен, осекся»...

На наш теперешний взгляд такое показание, с явным оговором товарища, может показаться совершенно чудовищным по своему преступному легкомыслию. И этот оговор был тем ужаснее, что Кюхельбекер настаивал на нем, несмотря на то, что сам Пущин отрицал свою вину. Но мы также знаем, что тот же Пущин, повидимому, не слишком возмутился предательством своего друга. Таковы были тогдашние представления о нравственных обязательствах заговорщиков.

Следователи, с своей стороны, не верили Кюхельбекеру. Они на следующих допросах называли его показания «несообразными». Тогда Кюхельбекер вновь представил об'яснения. «Я желал бы теперь,—писал он,—взять на одного себя все бремя, которым тяготит меня обвинение в покушении на жизнь его императорского высочества, но не могу; сказанное мною в сем случае о Пущине, к несчастью, истинно,—в моем же об'яснении причин, заставивших меня целить в его императорское высочество, нет противоречия, ни несообразностей: уверенный в том, что пистолет мой не стреляет, я хотел выиграть время». Далее Кюхельбекер пишет: «Где тут явная несообразность, не заслуживающая никакой веры, и могу ли по совести в том сознаться? Впрочем, в силах ли я теперь отдать ясный отчет во всем том, что тогда во мне происходило? Но живо помню, что надеялся на осечку пистолета; живо помню, что меня об'яла жалость, когда всмотрелся в лицо великого князя; что когда солдат отвел мою руку, у меня будто камень с сердца свалился».

Сверх того,—продолжает Кюхельбекер,—по совести должен я об'явить, что не смею решительно утверждать, чтобы именно Пущин вызвал меня на второе убийственное покушение против генерала Воинова. Оно последовало непосредственно после первого, и надеюсь, мне поверят, что я от сего первого

не пришел еще в себя; помню только, что меня взяли за руку, вывели из рядов гвардейского экипажа, что я слышал имя Воинова; потом сдается мне, набрасывали на меня шинель, которую я механически надевал и скидывал и, наконец, бросил. Когда же я оглянулся, за мною стояли: Пущин, Каховский, Одоевский и несколько незнакомых лиц, и меня кто-то упрекал в том, что я не выстрелил. Все это теперь передо мною как будто было во сне: я не прежде очнулся, как когда услышал картечные выстрелы.

В тот же вечер Кюхельбекер бежал из Петербурга, переодевшись в нагольный тулуп; вместо того, чтобы спешить к Варшавской границе, он неожиданно явился в псковское имение своей родственницы Софии Андреевны Лавровой, рожденной Глинка, где у нее гостила некая Авдотья Тимофеевна Пушкина, которую, со слов родственников Кюхельбекера, авторы биографических заметок о поэте, напечатанных в «Русской Старине», называют «двоюродной сестрой А. С. Пушкина» (?). Эту Авдотью Тимофеевну, оказывается, В. К. Кюхельбекер считал своей невестой и сохранил к невесте своей чувство глубокой любви в течение десятилетнего заключения в крепостях и, прибыв в Сибирь, вызывал ее туда; но Авдотья Тимофеевна, также очень его любившая, по слабости характера, не решилась разделить судьбу поселенца; она умерла девицей».

После свидания с возлюбленной Кюхельбекер направился в имение своей сестры, Юстины Карловны, которая тотчас же снабдила его паспортом, деньгами и одеждой и отправила в Варшаву на подводе в сопровождении почему-то двух дворовых людей. Весьма неспешно, «на долгих», ехал Вильгельм Карлович Кюхельбекер со своими спутниками по направлению к Варшаве, как будто ему вовсе не угрожал арест.

20-го января 1826 года вел. кн. Константин Павлович писал близкому ему человеку Ф. П. Опочинину в Петербург: «Любезный Федор Петрович! Известный вам по происшествию в С.-Петербурге минувшего 14 декабря Кюхельбекер, полагавшийся погибшим в деле, наконец, очутился здесь, и, только проныл в'езд и вошел на Прагу вчерашнего числа, был пойман унтер-офицером лейб-гвардии Волынского полка Григорьевым. Я, приказав взять с него подробный допрос и заковав его в кандалы, отправляю сейчас с фельд'егерем и двумя казаками, при всеподданнейшем донесении моем к его императорскому величеству, в С.-Петербург; для любопытства же вашего посылаю при сем копию с взятого от него показания и подробного донесения моему государю императору о поимке сего преступника, в котором вы увидите, каков молодец сей унтер-офицер»...

Кажется, в этом деле не столько был молодец «сей унтер-офицер», сколько был бестолков и простодушен наш бегглец. В рапорте цесаревича обстоятельства, при которых был задержан Кюхельбекер, изложены были так: «Вчерашнего же числа, пополудни в час, лейб-гвардии волынского полка унтер-офицер Никита Григорьев, будучи послан по ротным делам с одним рядовым в предместье Прагу, идя там по площади, встретил человека, одетого в тулупе, крытом китайкою, а под ним простом нагольном тулупе же, подпоясанного кушаком и в русской шапке, шедшего в город от Гроховского в'езда. Сей человек, остановя его, спросил по-русски: «Тут ли квартирует гвардейская конная артиллерия?» Унтер-офицер Григорьев отвечал ему, что нет, и спросил его, что он за человек и зачем он хочет знать о конной артиллерии. На сие он сказал, что он крепостной слуга барона Моренгейма, и желает знать, где офицер оной артиллерии Есаков, знакомый с его господином. Унтер-офицер Григорьев, вглядываясь в

него и, помня приметы Кюхельбекера, о котором назад тому несколько дней, как в полку было об'явлено в приказе и внушено об оных нижним чинам, и, находя, что оные весьма сходствуют с сим человеком, а при том, видя, что он мешается в речах, спрашивая об конной артиллерии, тогда, когда сам об'явил, что находится уже с год в Варшаве, и потому предложил ему проводить его в лейб-гвардии волынский полк, говоря, что там есть брат г. Есакова, командир полка, который ему даст вернее сведение о служащем в конной артиллерии; но человек в тулупе, благодаря его несколько раз за труды, неоднократно просил, учтивым образом, не беспокоиться и вернуться, говоря, что нечем ему за оные заплатить. Унтер-офицер Григорьев из сего более еще удостоверяясь, что он должен быть сомнительный человек, повел его на гауптвахту, что на Пражской площади, и представил к караульному офицеру лейб-гвардии литовского полка прапорщику Сурцову 2-му, который спрашивал его, что он за человек. Но и ему отвечал, что барона Моренгейма. Офицер же отправил его под арестом к коменданту, пред которым уже он признался, что есть тот самый Кюхельбекер, которого отыскивают».

Пока велось следствие, привезенный из Варшавы Кюхельбекер сидел в Петропавловской крепости. Приговор, вынесенный ему Верховным Судом, известен. Его обвинили в том, что он «покушался на жизнь его высочества вел. кн. Михаила Павловича во время мятежа на площади; принадлежал к Тайному Обществу с знанием цели; лично действовал в мятеже с пролитием крови; сам стрелял в генерала Воинова и рассеянных выстрелами мятежников старался поставить в строй». Кюхельбекер был причислен к первому разряду осужденных и приговорен к смертной казни отсечением головы. По ходатайству вел. кн. Михаила Павловича, на жизнь которого он

покушался, Кюхельбекер был избавлен от смертной казни и приговорен к 20-летней каторжной работе и вечному поселению в Сибири после нее. Потом срок каторги был сокращен до 15 лет и, по приказанию императора Николая, заменен одиночным заключением в крепости. Сначала Кюхельбекера поместили в Шлиссельбургском каземате. Здесь он в два месяца выучился читать по-английски и занялся переводами Шекспира. Из Шлиссельбургской крепости его перевели в Динабургскую. Первоначально, когда ему еще не давали чернила и пера, Кюхельбекер, слоняясь из угла в угол своей камеры, слагал стихи и твердил их наизусть. Потом четыре года он томился в Динабурге. Режим здесь был довольно мягкий. Комендант был добрый человек. Кюхельбекер получал книги, ему разрешили писать, он прогуливался по плацформе и даже в квартире коменданта у него было свидание с матерью. Весною 1831 года его перевели из Динабургской крепости в Ревельскую цитадель,—тут он начал писать свой дневник. Здесь он пробыл всего пять месяцев. Отсюда в октябре месяце того же года Кюхельбекер был отправлен в Свеаборг. И здесь он продолжал вести свой дневник, значительная часть которого дошла до нас. За время своего заключения он успел усовершенствоваться в греческом языке и усердно читал в подлиннике Гомера.

По ходатайству вел. кн. Михаила Павловича, срок заключения Кюхельбекера был сокращен на 5 лет, и в конце 1835 года Михаил Павлович прислал покушавшемуся на его жизнь Кюхельбекеру медвежью шубу, в которой он и отправился в сопровождении жандарма в восточную Сибирь, в Забайкальскую область, где в городе Баргузине жил его брат Михаил Карлович, сосланный также за участие в Тайном Обществе.

Кюхельбекер привез с собою не мало рукописей, но жизнь на поселении была для него непривольною

и нерадостною. Материальная нужда и невозможность печатать свои произведения угнетали его. В январе 1837 года он женился на дочери почтмейстера, очень молоденькой необразованной девушке, Дросиде Ивановне Артеновой. Семейная жизнь Кюхельбекера едва ли была счастливой. Его жена нисколько не ценила его литературных трудов, а он не умел устроить уютно семейного очага. «Если бы не сотоварищи по ссылке,—сообщает его биограф,—добрые люди, да помощь из России от родных, Кюхельбекер уморил бы и себя и семью голодом».

В начале 1840 года Кюхельбекер был переведен по его просьбе в Акшинскую крепость. Оттуда—в Курганский уезд Тобольской губ. По дороге в Курган Кюхельбекер заехал в Ялуторовск, где жил И. И. Пущин. 21 марта 1845 года И. И. Пущин писал Энгельгардту: «Три дня прогостил у меня оригинал Вильгельм. Проехал на житье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину: он тот же оригинал, только с проседью в голове. Зачитал меня стихами до-нельзя; по правилу гостеприимства я должен был слушать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие. Не могу сказать вам, чтоб его семейный быт убеждал в приятности супружества. По-моему, это—новая задача Провидения,—устроить счастье существ, соединившихся без всяких данных на это земное благо. Признаюсь вам, я не раз задумывался, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужиковатой Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг детей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ни-

ли никакой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроенное здоровье и даже нервические припадки, боится ей противоречить и беспрестанно просит посредничества; а между тем баба беснуется на просторе; он же говорит: ты видишь, как она раздражительна. Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем. Между тем он вздумал было мне в будущем январе месяце прислать своего шестилетнего Мишу на воспитание и чтобы он ходил в здешнюю Ланкастерскую школу. Я поблагодарил его за доверие и отказался. Спасибо Вильгельму за постоянное его чувство, он точно привязан ко мне; но из этого ничего не выходит. Как-то странно смотрит на самые простые вещи, все просит совета и делает совершенно противное. Он хотел к вам писать с нового места жительства. Прочел я ему несколько ваших листков. Это его восхитило; он, бедный, не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в крепостях и в Сибири. Не знаю, как будет теперь в Кургане»...

Кюхельбекеру не позволили жить в городе. Он построил себе домик в слободе около Кургана. Весною 1845 года недуги стали одолевать его. Повидимому, у него была чахотка. Кроме того, у него заболели глаза, и, наконец, поэт, замученный неудачною жизнью, ослеп. Его перевезли в Тобольск, но разрешение пришло слишком поздно. В полночь 11 августа 1846 года В. К. Кюхельбекер скончался, окруженный товарищами, бывшими тогда в Тобольске. Около него были П. Н. Свистунов, Е. П. Оболенский, И. А. Анненков и Ф. Б. Вольф. На его могилу положили плиту с надписью: «Приидите ко мне вси страждущии и обремененнии и Аз упокою вы!».

II.

Барон Жюль-Баптист Клоотс был тоже странным гостем чужой революции. Ревнитель древне-грече-

ской мнимой демократии, он принял имя Анахарсиса; пруссак, воспитанный во Франции, он сделался французским патриотом; он явился в Учредительное Собрание во главе «комитета иностранцев», который был представлен пестрою толпою ряженных; в конце концов его все-таки убили якобинцы, хотя он и подавал голос за казнь Людовика «во имя любви к человечеству». Анахарсис Клоотс был чудак, как и Вильгельм Кюхельбекер. Оба они были одержимые; оба отреклись от своего отечества—Германии; оба с трудом выучились говорить на языке нации, которую признали своей духовной родиной; оба участвовали в революции, возбуждая не сочувствие, а смех; оба напрасно суетились, были неудачливыми литераторами и мрачно погибли. Воистину, Пушкин изумителен в своей проницательности, окрестив Кюхельбекера именем этого нелепого энтузиаста.

И, однако, несмотря на эту трагикомическую сторону в политической «деятельности» Вильгельма Кюхельбекера, его никак не вычеркнешь из списка действующих лиц нашей первой революции. Он, пожалуй, не менее значителен в своем плане, чем самый умный и последовательный из членов Тайного Общества. Он, пожалуй, необходимое «пятно» на картине, изображающей русских карбонариев. Карикатуры—полезны: они, так сказать, показательны. Кюхельбекер, испугавшийся «отвлеченных начал» русского романтизма и даже идеализма, на самом деле был отвлеченнейший мечтатель и совершенно беспочвенный человек. Декабристы вообще были беспочвенные люди. Кюхельбекер был их страшноватым зеркалом. Краски, может быть, изменялись в этом отражении, но рисунок был верен. Кюхельбекер был немец, а Рылеев был русский. Но они оба понятия не имели о России. И даже странно, что они жили в эпоху Пушкина. В то время как великий поэт открыл сокровищницу живой русской культуры, эти

люди мастерили картонную «макету» России, не замечая вовсе реальной действительности.

Но,—скажут,—Кюхельбекер был не столько исторический деятель, сколько поэт. И это верно. Но каков он был, как поэт? В Лицее товарищи считали его поэзию скучной. И под старость Пущин жалуется Энгельгардту на то, что Кюхельбекер замучил его стихами, очевидно, скучными. Пушкин называл поэзию своего младшего собрата усыпительной, и все-таки читал его, и читал, повидимому, внимательнее, чем иные товарищи. На это есть указание в переписке. Пушкин и на этот раз был прав. Поэзия Кюхельбекера—скучная, душная, нудная поэзия, но все же это поэзия. Как же так? То, что поэтично, не может быть скучным. Верно, но, очевидно, что поэтическая душа Кюхельбекера была недостаточно воплощена в стихах. Его творения были несовершенны. Отсюда чувство томительной неудовлетворенности. Но все же у него был свой голос и вовсе не фальшивый. Кроме того, он был серьезен. И это было хорошо. Но эта же серьезность губила его поэзию, ибо—по слову Пушкина,—«поэзия, прости господи, должна быть глуповата». Вот этой счастливой, беспечной «глуповатости», этой божественной легкости, не было в стихах Кюхельбекера никогда. Не было и той блаженной влюбленности, которая дышит во всякой подлинной лирике,—и в злой шутке Пушкина была доля истины: Кюхельбекер был в любви, как некий «Буало».

Его отношение к революции в поэзии почти не отразилось. Однако, у него есть одно неоконченное произведение—поэма «Вечный Жид»—кстати сказать, едва ли не самое замечательное из написанных им,—где в одной из глав небезразличные стихи посвящены революции. Кюхельбекер понимал корни революции—это надо признать

Безверье, легкомыслие, разврат
Избрали Францию любимицей своею!
Маркиз и откупщик, философ и аббат
Равно готовили для тильотины шею;
Затем, что, позабыв, что есть господь и бог,
Там всякий делал то, что только смел и мог,
И что глупцы слепые без печали,
Резвясь, переворот ужасный вызывали...

Так было наверху. А вот что было внизу—на первой ступени социальной лестницы.

...Обремененный данью
Правительству, дворянству, алтарю,
Крестьянин раннюю в трудах встречал зарю
И отдыха не знал до самой поздней ночи,
А дома—дети, голод, плач и стон!
Когда ему терпеть не станет мочи,
Не в тигра ли переродится он?

Эта поэма не только красноречива. Она содержательна, а порою и остроумна. «Любезник деревянный Робеспьер», пишущий мадригалы для руанских дам накануне революционной грозы, выразителен и занятен.

Священство? Высшее? предчувствуя погром,
Казалось, только думало о том,
Как бы спасти свои доходы, десятины,
Поместья и помещичьи права.
Аббаты лучше их: пуста их голова,
Святые их обеты позабыты,
Сплошь будуарные шуты и волокиты;
Но в кое-ком из них душа еще жива...

Падение нравов внутри и около церковной ограды дает повод Атасверу приветствовать грядущие события.

И радовался он глубокому упадку
Религии, и был уверен в том,
Что эти ляже-жрецы все первому нападку
Уступят и отступят от Христа.

Сцены у Карье написаны с движением и меткостью, достойными Грибоедова. Даже самый стих, вообще говоря у Кюхельбекера довольно вялый, приобретает в этих строках крепость и напряженность. Карье расстреливает аббатов. Тогда Агасвер предлагает ему быть посредником между ним и осужденными. Пусть эти люди отрекутся от своего суеверного пристрастия ко Христу. Тогда отечество приобретет новых граждан. И вот Агасвер подходит к обреченным на казнь аббатам.

«Он некоторых знал в Париже прежде:
Вот почему он в суетной надежде,
Что увлечет хоть этих. Например,
Он руку подал бледному аббату,
Лет тридцати»...
«Вы поклонялись шалуну Вольтеру
И славили везде естественную веру!
И вас ли вижу здесь, любезный мой аббе,
Клянусь, в живой моей печали!
Как в сонм фанатиков безумных вы попали!
И с ними вы-ль одной обречены судьбе?
Ей-богу, это странно, это ново,
Но полномочье от Карье
Есть у меня. Скажите только слово...

Но этот аббат, недавно сочинявший фривольные стишки, теперь иной. И от Христа—по требованию Агасвера—не отрекается. Так же оканчивается диалог Агасвера с каким-то епископом. Эти сцены сделаны Кюхельбекером в поэтическом отношении довольно удачно.

В «Вечном Жиде» Кюхельбекера есть своя философия истории. Не надо забывать, однако, что фрагменты поэмы датированы 1842-м годом. Накануне мятежа 1825 года, у Кюхельбекера, вероятно, была иная теория исторического развития. По после десятилетнего одиночества и мрачного жизненного опыта он пишет в предисловии к своей поэме: «Агасвер путе-

шествует из века в век, как Байронов Чайльд Гарольд из одного государства в другое, перед ним рисуются события, и неумирающий странник на них смотрит не беспристрастно, не с упованием на радостную развязку чудесной драмы, ибо он с того начал свое поприще, что предпочел земное небесному. Небо, разумеется, всегда и везде право; промыслу нечего перед нами оправдываться; но не забудем же и мы, что если не прострем взора о б о н п о л гроба в область света, истины, духа,—мы никогда лучше Агасвера не постигнем святую правду божию, и жребий наш при последнем часе нашей жизни—непременно отчаяние, как скорбный жребий последнего человека, умирающего в окончательном отрывке нашей поэмы в об'ятиях нетленного страшного странника».

В наше задание не входит анализ и характеристика поэзии Кюхельбекера. Нас интересует только его личность. Кто он был? Что любил? Во что верил?

Кажется, больше всего он любил литературу. Его дневники, которые он с таким усердием вел в тюрьме, все сплошь нагружены литературой. Его интересует Гомер, Шекспир, Кальдерон, менестрели и немецкие мейстерзенгеры. У него большой масштаб. Он пишет свою мистерию «Ижорский» в плане «Фауста» Гете...

Правда, И. И. Пущин пишет по поводу этого произведения Кюхельбекера: «У него... все пахнет каким-то нестественным, расстроенным воображением: все неловко, как он сам, а охота пуще неволи, и говорит, что наше общество должно гордиться таким поэтом как он.Извольте тут вразумлять: сравнивает даже себя с Байроном и Гете. Ездит верхом на своем Ижорском, который от начала до конца нестерпимая глупость. Первая часть была напечатана покойным Пушкиным. Вам, может быть, случилось видеть бук и киккимор, которые действуют в этом, так называе-

мом, Шекспировом произведении»... И все-таки Пушкин напечатал часть этой мистерии! У Кюхельбекера было малое, слишком малое дарование, но он был по своему гениален. И этот гений—или, если хотите, карикатура на гения—был гений германский, как ни старался поэт сделаться славянином.

Итак, Кюхельбекер больше всего любил литературу. Вот почему в своем одиночном заключении, в крепости, он сравнительно легко мирился со своею судьбою. У него были книги. У него были перо и бумага. Это было главное. Он даже, освобожденный на поселенье, готов был иногда жалеть о своем тюремном досуге. В жизни он терялся и недоумевал. В письме к Пушкину из Баргузина третьего августа 1836 года он пишет: «Ты хочешь, чтобы я тебе говорил о самом себе. Ныне это мне еще совершенно невозможно: в судьбе моей произошла такая огромная перемена, что и поныне душа не устоялась. Дышу чистым, свежим воздухом, иду куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрипа замков, ни шопота часовых при смене: все это прекрасно, а между тем—поверишь ли?—порою жалею о своем уединении. Там я был ближе к вере, к поэзии, к идеалу; здесь все не так, как ожидал даже я, порядочно же кажись, разочарованный на счет людей и того, чего можно от них требовать»...

Но и Кюхельбекера коснулась своим крылом однажды живая жизнь. Та самая Дросида Ивановна, которая показалась Пущину в 1845-м году толстой, вульгарной и сварливой, за девять лет до того была иною или иною предстала в воображении поэта. 18 октября 1836 года Кюхельбекер писал Пушкину: «Я собираюсь жениться»... И далее: «Что-то бог даст? Для тебя, поэта, по крайней мере, важно хоть одно, что она в своем роде очень хороша: черные глаза ее жгут душу; в лице что-то младенческое и вместе,

что-то страстное, о чем вы, европейцы, едва ли имеете понятие»...

В письме послание по поводу лицейской годовщины, которое кончается так:

И, друг, хотя мой волос побелел,
А сердце бьется молодо и смело,
Во мне душа переживает тело;—
Еще мне божий мир не надоел.
Что ждет меня? Обманы—наш удел.
Но в эту грудь вонзалось много стрел,
Терпел я много, обливался кровью...
Что? Если в осени столкнусь с любовью?

«Размысли, друг, этот последний вопрос,—заключает свое послание Кюхельбекер,—и не смейся, потому что человек, который десять лет сидел в четырех стенах и способен еще любить довольно горячо и молодо,—ей-богу! достоин некоторого уважения».

И в самом деле, несмотря ни на что, Кюхельбекер достоин уважения. Пущин прозаически смеется над нелепым поэтом и уверяет нас, что Кюхельбекер мнил себя равным Байрону или еще кому-то из великих. Возможно, что Кюхельбекер и мог заявлять подобные претензии, так сказать, полемически, но, вероятно, в глубине души он сознавал несовершенство и незрелость своих творений. Вот письмо как будто подтверждающее эту нашу мысль:

«Ни о чем в свете, кажется, я столько не думал, как о высоком искусстве,—писал Кюхельбекер в первые годы своего заточения к одному из своих племянников,—об искусстве, которому посвятил жизнь свою, посвятил ее, может быть, без всякой пользы. Без пользы! Конечно, если разуметь под пользою выгоды житейские или даже самые наслаждения славою: имя мое забудется (говорю о моих литературных грехах, как будто бы о произведениях другого), ибо, хотя, может быть, я и был бы чем-нибудь со временем, но все мои произведения незрелы, несовер-

шенны. Несмотря на то, никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом; утешения, которые мне доставляла поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их,—довольно, говорю, для меня и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего».

«Теперь я уже не словесник; прельщения минутного блеска, хвала друзей, ободрения знатоков, самая критика для меня не существуют, не доходят до меня. Но бог с ними. Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти и, признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею, я предпочел бы счастью без нее. Ты не сочтешь это уверение одними словами, ибо, что есть горького в жизни человеческой, я испытал в самом деле»...

И Кюхельбекер был прав, несмотря на несовершенство своих стихов, он был настоящим поэтом, а иногда для своих произведений он находил и форму вполне гармоническую. Такова его пьеса «Лицейская годовщина 19 октября 1838 года». Я позволю себе напомнить первую строфу стихотворения:

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В средине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушенных сил!
Блажен! лицо его, всегда младое,
Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце вечно золотое,
Как первая эдемская заря.

Так писал поэт, думая о Пушкине. Иною представлялась ему его собственная судьба, и он заканчивает свою оду словами страшными в своей откровенности:

Мне ангел песней рай в темнице душной
Когда-то созидал из снов златых,
Но без него не труп ли я бездушный
Средь трупов столь же хладных и немых?

Несчастье Кюхельбекера заключалось в том, что он черпал свое вдохновенье только из двух источников—своей собственной души и мировой литературы. Он так и не удосужился обратиться к третьему источнику искусства—к живому реальному миру. Вот почему отлетел от него ангел райских песней, когда он пытался выйти из своей одинокой кельи. Кюхельбекер не умел дышать вольным миром. Земля для него не благоухала. Вот почему и нам представляется и поэзия его, и самая жизнь чем-то душным. Что-то было в Кюхельбекере бездыханное.

И странно, Пушкин утверждал, что положительная религия—вечный источник поэзии. Кюхельбекер был религиозен. Добрая половина его стихов на религиозные темы. Мы не в праве заподозрить искренность стихотворца. Но от этого пристрастия к религиозным сюжетам стихи Кюхельбекера нисколько не выигрывали. Очевидно, не в сюжетах дело. Очевидно, и Пушкин, когда говорил о религии, как об источнике поэзии, имел в виду ту подсознательную стихию вдохновения, которая вовсе не нуждается для своего воплощения в каких-либо точно рассудком очерченных формах.

И религиозность Кюхельбекера была какая-то душная. Он даже, сочиняя стихи на религиозные темы, исходил опять-таки от литературы. Вот, например, в дневнике от 6 января 1835 года, когда он сидел в Свеаборгской тюрьме, мы находим его признание, каким образом, он написал свое религиозное стихотворение: «Он есть, умолкни лепетанье»... Оказывается, Кюхельбекер прочел Державинскую оду «Бог», и это дало ему повод написать стихи. Пьесе предшествует в дневнике следующее рассуждение:

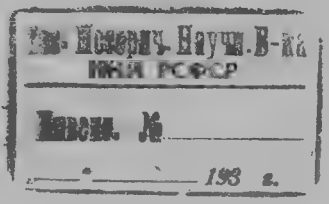
«Спасибо старику Державину! Он подействовал на меня вдохновительно; тремя лирическими стихотворениями я ему обязан: переписанным в самом начале нынешнего дневника, конченным вчера и начатым и конченным сегодня. У Державина иногда встречаются мысли, столь глубокие, что приходишь в искушение спросить: понял ли сам он вполне то, что сказал. Таков, напр., стих в оде Бог: «Я есмь,— конечно, есть и ты!»—в этом одном стихе опровержение и догматизма, и критицизма (или реализма и идеализма). Обе системы в том согласны, что крайний итог их... О.—Но пусть соберутся все мудрецы мира и доказывают мне, что я не существую, не есмь,— я, быть может, стану в тупик от их диалектики, да все же им не поверю. То же самое скажу им, когда они, обескачествуя Высочайшее Существо, приведут и его к нулю. Вера в премудрую, преблагую, всемогущую, самобытную причину вселенной столь же необходима мне, сколь необходима мне вера в собственное существование. Без той и другой я совершенно теряюсь в хаосе; без них моим единственным спасением из бездны отчаяния может быть только смерть или безумие».

Все через литературу!—даже религиозное чувство—это ли не мрачная судьба! И к этому прибавьте еще немецкую душу, сантиментальную, восторженную и, однако, систематическую. Даже презирая философию, он философствует.

По своему вероисповеданию Кюхельбекер был лютеранин. «Добрый» пастор посещал его и в тюрьме. И протестантизм был не случаен для личности Кюхельбекера. Его религиозность по своей природе была протестантская. Между ним, верующим, и живым богом, не было ничего. Мира не было. Не было природы, космоса, плэромы, о которой говорит ап. Павел. Отсутствие этой плэромы, этой «полноты бытия» совершенно разительно во внутренней жизни Кюхель-

бекера. Искренний восторг его перед господом богом, его моральный пафос и даже его восхищение перед творением—все это остается для нас чем-то недоступным, ибо все это не более, как «отвлеченные начала», которых сам поэт страшился, но от власти которых не освободился.

Недаром в основу своего религиозного миропонимания протестантизм положил книгу—Библию. Живое предание было отвергнуто, как заблуждение. Так и Кюхельбекер был рабом книги. Так и задохнулся под ворохом книг.



Гос. Историч. Научн. Б-ка
КНИГ РСФСР
Инвент. №
193 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
Предисловие	3
От автора	13
П. И. Пестель	17
К. Ф. Рылеев	43
С. И. Муравьев-Апостол	75
Г. С. Батеньков	110
П. Г. Каховский	141
Братья Борисовы	189
М. С. Лунин	223
В. К. Кюхельбекер	265

КНИГИ ГЕОРГИЯ ЧУЛКОВА.

Тайга. Драма. Изд. «Оры» СПБ. 1907.
Весною на Север. Стихи. Изд. «Факелы». СПБ. 1908.
Сочинения. I—VI т.т. Изд. «Шиповник». СПБ. 1909—1912.
Сатана. Роман. Изд. «Огни». М. 1916.
Люди в тумане. Разсказы. Изд. «Северные дни». М. 1916.
Сережа Нестроев. Роман. Изд. «Северные дни». М. 1916.
Метель. Роман. Изд. «Северные дни». М. 1916.
Стихотворения. Изд. «Задруга» М. 1921.
Посрамленные бесы. Разсказы. Изд. «Костры». М. 1921.
Мария Гамильтон. Поэма. Изд. «Аквилон». П. 1922.

Анархические идеи в драмах Ибсена. Изд. «Шиповник». СПБ. 1907.
Покрывало Изиды. Опыты критические. Изд. «Золотое Руно» М. 1909.
Наши спутники. Литературные очерки. Изд. П. В. Васильева М. 1922.
Новые тексты Тютчева. Изд. «Круг». М. 1925.
Тютчев и Гейне. Изд. Академии Худ. Наук. М. 1923.

КН-ВО „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ“
Москва, Сивцев-Вражек, 40, кв. 1. Телеф. 3-65-07.

Семья и брак

в прошлом и настоящем, с предисловием Н. Семашко.

Содержание: 1) М. Шишкевич. Происхождение брака и семьи. 2) Н. Некрасов. Деревенская страда. Катерина. Плач детей. 3) В. Бойчевский. Семья и брак до эпохи промышленного капитализма. Семья и брак в эпоху промышленного капитализма. 4) Демьян Бедный. Работница. Работнице. К коммунисткам. Боевой призыв. 5) Томас Гуд: «Песнь о рубашке». 6) В. Строев. Две свадьбы. 7) М. Шишкевич. Семья и брак в условиях нового быта. 8) В. Строев. Законы о браке и семье. 9) В. А. Семья и общественность в мире животных.

«Авторы этого сборника взялись за новую задачу: дать читающей молодежи марксистское об'яснение волнующих ее вопросов семьи и брака Пусть за ними последуют другие. Пусть критикуют их работу: она, несомненно, в будущем будет дополнена и исправлена. Но, самое главное—начало сделано. Молодежь будет знать научное освещение тех вопросов, которые ее волнуют.

И нужно пожелать только одного, чтобы этот сборник был началом целой серии книг, освещающих темные еще стороны нашего нового быта. Поэтому нельзя не приветствовать составление настоящего сборника».

Из предисловия Н. Семашко.

Д-р Т. Кениг. Психология рекламы. Ее современное положение и практическое значение. С 30 рисунками.

Книга д-ра Кенига посвящена наболее злободневному вопросу прикладной психологии—вопросу о психологических факторах, влияющих на действительность рекламы.

Тема рассматривается на основе специальных научных опытов, произведенных в прикладной психологии. Авторами описываются и методы подобного рода исследований, равно как намечаются и дальнейшие шаги в разработке этой области. Цена 1 р. 25 к.

К-ВО „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ“
Москва, Сивцев-Вражек, 40. Тел. 3-65-07.

ДАВИД ГЕРНЕТТ.

ЧЕЛОВЕК В ЗООЛОГИЧЕСКОМ САДУ.

РОМАН. Цена 75 к.

«. . . . Необычайность и оригинальность этого небольшого романа бросается в глаза с первых же страниц. С первых же страниц читатель оглушен, поражен, с первых же страниц он чувствует, что автор в поисках новых тем и новых литературных приемов, на самом деле вступил на какой-то неизведанный путь, открыл какие-то ключи, которые бьют для него одного.

Роман Гернетта не только интересен. Он значителен, как литературное произведение и как социально-психологический документ».

Мих. Левидов.

«Прежде всего, привлекает оригинальность сюжета: Джон Кремарти благодаря размолвке с любимой девушкой, Жозефиной Лэкетт, садится в клетку зоологического сада, над которой появляется необычайная вывеска «Человек». Джон очень терпелив, он с упорным холодным спокойствием переносит и соседство с обезьяной, и толпы людей перед своей клеткой, и тяжелую боль отрешенности. Он дружит с зверем, и его дружба с хищницей-рысью, постепенно привязывающейся к нему,—лучшие главы книги: они трактуются с подкупающими новизной и силой. Новизна – вообще отличительное свойство этого романа, и не только в его сюжетном смысле, но и в смысле построения и манеры письма. Автор пишет сжато, суховато, но ярко и убедительно. Убедительна взаимная борьба самолюбий Джона и Жозефины, убедительно и психологически оправдываемо неуклонное нарастание действия. Естественна развязка: выход Джона из клетки и брак с Жозефиной. Роман, однако, перерастает любовно-психологические рамки. Непрерывные общественные и внутрисемейные бытовые зарисовки облекают его в легкую сатирическую зыбь. Он прочитывается с большим интересом».

«*Известия ВЦИК*».

«ОХОТНИЧИЙ РОГ»

Сборник художественной прозы.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. **А. Новиков - Прибой.**—На утином навадке. 2. **М. Пришвин.**—Рассказы: а) Ток. б) Орел. в) Наташка. г) Гон. д) Анчар. е) Болото. 3. **Ник. Смирнов.**—Сосновая ветвь. Очерки. Песнь песней. Ворожба. С Лайкой. 4. **В. Правдухин.**—На дудаков. 5. **Л. Сейфуллина.**—По-неволе. 6. **В. Шубинский.**—Фазаны. 7. **А. Зорюн.**—Сон. 8. **А. Чапыгин.**—Перед снегом. Первая встреча. 9. **Путешественник.**—Пороша. 10. **А. Перегудов.**—Казенник. 11. **В. Иванов.** - Нежинские огурцы. 12. **Б. Пильняк.**—Облава на волков. 13. **В. Лидин.**—Полярные дни. 14. **П. Низовой.**—Охотничье сердце. 15. **М. Кравков.**—Берлога.

Цена 1 р 50 к.

Сборник **«ОХОТНИЧИЙ РОГ»** включает в себе двадцать три рассказа современных русских писателей. Большинство рассказов печатаются впервые. И только немногие из них (пять-шесть) были опубликованы раньше—за последние годы в 2 различных повременных изданиях.

Целью редакции было собрать разносторонние художественные зарисовки русской охоты и отражения человеческих переживаний наедине с природой,—переживаний, которые в такой полноте были присущи нашим предкам, и которые не выветрились и до сих пор из сердца современного человека.

Русская литература не раз посвящала охотничьей страсти свои страницы.

И данным сборником современные писатели пытаются следовать по путям, проложенным раньше русской литературой. Все мы помним страницы об охоте у Аксакова, Г. Данилевского, А. К. Толстого, И. Тургенева. Непревзойденными остаются охотничьи картины, нарисованные величайшим из писателей—Л. Н. Толстым. Но впервые выходит сборник художественной литературы, охватывающий почти все стороны русской охоты.

К-ВО „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ“

Москва, Сивцев-Вражек, 40. Тел. 3-65-07.

ДЖОН ПЭРИС.

Кимоно. Роман. Цена 2 р.

. . . «От большинства «экзотических» романов «КИМОНО» сильно отличается своими действительными достоинствами. Прежде всего, автор в самом деле основательно знает Японию и не подносит читателю никаких «развесистых клюкв» и «бедняков», питающихся одной зернистой икрой. Во-вторых, его герои, англичане и японцы—психологически выдержанные характеры, живые люди, а не марионетки. Касаясь рискованных тем, он ни разу не впадает в порнографию. Отдельные сцены и подробные картины японской жизни положительно захватывают читателя реализмом, детальностью, художественностью, часто напоминая манеру нашего Гончарова. Японское общество изображено всесторонне и без прикрас, картина получилась далеко не отрадная: разложение старой этики и поверхностное усвоение новой культуры, гнет разворачивающегося капитализма и милитаризма, подкупность администрации, тяжелое положение женщины и бедняка. Но и английской аристократии добросовестный автор не польстил; перед нами молодой лорд, добрый малый, но вовсе не привыкший мыслить, руководящийся в своих поступках правилами «хорошего тона» и смотрящий на людей Востока с высоты своей . . . физкультуры; декадентствующий артист-дипломат; высокопоставленные и высоконравственные сплетницы от скуки и по призванию и т. п.; при этом культ золота и старинных предрассудков.

Талантливый роман заслуживает внимания».

«Печать и Революция».

К-ВО „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ“

Москва, Сивцев-Вражек, 40. Тел. 3-65-07.

ШЕРВУД АНДЕРСОН.

«Торжество яйца. Книга впечатлений из нашей американской жизни. Цена 1 руб. 25 коп.

. . . В его замечательных рассказах, появившихся под общим названием **«Торжество яйца»**, Шервуд Андерсон дал нам литературу, которая поднимается до высоты поэзии. Это—игра словесного тембра, узор из звуков, словесных форм и цветов, это своего рода абсолютная проза.

Беллетристических произведений, подобных этому, еще не было в Америке. До сих пор Андерсон наибольшего успеха достигал в своих мелких произведениях. В его рассказах обнаруживается крупный художник. Эти рассказы отличаются наибольшей правдивостью, теплотой и зрелостью из всего того, что дал нам запад Америки. Достаточно лишь сравнить эти хрупкие, изящные произведения с произведениями таких классических писателей как Эдгар По и Готорн, чтобы сразу увидеть всю реальность начала Андерсона».

Пауль Розенфельд.

«. . . Андерсон американец, и этому меньше всего веришь, когда знакомишься с его манерой писать, так мало похожей на динамический стиль его соотечественников—Синклера, О. Генри и др. Если эти последние вместе со своими героями торопятся делать жизнь, то Андерсон кажется нам пришельцем из старого света, настолько его подход к теме, его манеры письма психологичны. И все же он — американец чистой воды, герои его мастерских рассказов—американцы, строй души их определен Америкой. Дело лишь в том, что автор сумел подойти к американцу с той стороны, которая была скрыта от нас, представляющих себе Америку, эту страну торжествующей индустрии, страной небоскребов, фордов, бешеной погони за долларами, Америку мы рисовали себе по Нью-Йорку и Чикаго. Мы забывали, что Америка—не только страна городов-исполинов, но и страна необозримых степей, тихих поселков, ферм, затерянных среди полей. Вот почему особый интерес представляет **«Торжество яйца»**. Рассказы, вошедшие в эту книгу, соединяют в себе мастерство стиля с тонким анализом души маленького человека, брошенного в жизнь».

«Известия ВЦИК».

К-ВО „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ“
Н. А. СТОЛЛЯР, Москва. 1907—1925 г. г.
Сивцев-Вражек, 40, кв. 1. Телеф. 3-65-07.

САЛОМОН РЕЙНАК.

АПОЛЛОН

Всеобщая история пластических искусств.
С 650 рисунками в тексте. Цена 5 руб.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Происхождение искусства.
2. Искусство каменного и бронзового века.
3. Египет, Халдея, Персия.
4. Троя, Крит, Микены.
5. Греческое искусство до Фидия.
6. Фидий и Парфенон.
7. Пракситель, Скопас, Лисипп.
8. Греческое искусство в эпоху после Александра.
9. Прикладные искусства в Греции.
10. Этрусское и Римское искусство.
11. Христианское искусство на Западе и на Востоке.
12. Архитектура романская и готическая.
13. Романская и готическая скульптура.
14. Архитектура Возрождения и нового времени.
15. Сионский и Флорентийский ренессанс.
16. Венецианская живопись.
17. Леонардо да-Винчи и Рафаэль.
18. Микель-Анджело и Корреджи.
19. Фламандский и французский ренессанс.
20. Ренессанс в Германии.
21. Упадок итальянского искусства и испанская школа.
22. Голландское и фламандское искусство 17-го в.
23. Французское искусство 17-го века.
24. Французское искусство 18-го века и английская школа.
25. Искусство 19-го века.
26. Очерк истории искусства в России. Сергея Глаголя.